

История

1989

10



На выставке «Угар сталинского романтизма».

Фото Олега Зернова

Даугава

1989

10

ОКТАБРЬ (148)

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ. РИГА

В НОМЕРЕ:

Проза и поэзия

Маргерс ЗАРИНЬШ. Тревожные тридцать три. Фрагменты из романа. Вступительная статья Андриса Якубана	3
Александр ЧАК. Стихотворения	46
Николай ГУДАНЕЦ. При попытке взлететь. По- весть	52
Давид САМОЙЛОВ. Деять стихотворений. Всту- пительная статья Юрия Абызова	72
Александр СОЛЖЕНИЦЫН. Архипелаг ГУЛАГ. Главы из романа	77

Культурология

В. Н. ТОПОРОВ. О русской культуре в Латвии	105
---	-----

Методика

Зинаида ГИППИУС. Благоухание седин. Оконча- ние	110
---	-----

(см. на обороте)

В Н О М Е Р Е [окончание]:

Искусство	
Улдис ТИРАНС. Буратино и коммунизм	119
Картотека Юрасова-VII	122
Почта «Даугавы»	125

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Главный редактор
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (отв. секретарь), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАН (зам. главного редактора).

Редакция
Алла ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, Илан ПОЛОЦК,
Вадим РУДНЕВ

РОМАН, НЕ ПОПАВШИЙ В СЕЙФ

Об этом романе я узнал лет пять назад, когда вместе с композитором и писателем Маргерсом Заринишем мы гостили в Братиславе. Осмотрев белые мраморные плиты, на которых золотыми буквами было написано, что именно в этом дворце побывал и протянул руку помощи чешскому и словацкому народам товарищ Брежнев, мы спросили у наших проводников, что сейчас делает товарищ Дубчек. Словацкие товарищи ответили, что товарищ Дубчек чувствует себя хорошо, и повели нас в очередной кабачок. Каждый раз, как только мы начинали спрашивать о Дубчке, на наших столах сразу же появлялись новые бутылки. После таких разговоров о Дубчке Маргерс Зариниш и рассказал, что у него уже довольно давно написан роман, в котором есть все о послевоенных годах, и он не надеется увидеть его в книжных магазинах при жизни, а потом положит его в какой-нибудь сейф, и, когда времена изменятся, я смогу вынуть его из сейфа и позабыться о публикации.

Хотя после нашего разговора Маргерс Зариниш и побывал несколько раз в больнице, времена все же изменились прежде, чем он успел отправить роман в сейф. Когда в московских журналах появились книги, рукописи которых тщательно хранились писателями в дальних ящиках столов, Маргерс Зариниш дал трем коллегам почитать свой роман. На рояле, за которым было написано бесчисленное множество хоровых песен, ораторий, опер и балетов, он расставил вкусные закуски, поскольку в шестидесятилетнем возрасте оказался молодым автором, лет шестнадцать он почти не сочинял музыку, и нам предстояло ответить всего на один его вопрос: пришло ли то самое время! Понятно, что не только ради вкусных закусок мы подтвердили: да, это время настало.

Я прочитал эти шестьсот страниц за одну ночь, смеясь и плача. За эту ночь я пережил тридцать три послевоенных года жизни латышской творческой интеллигенции. Ее надежды и иллюзии, крушение этих надежд и иллюзий, когда на смену мечтам и благородным устремлениям юности пришло незаметное приспособление к тоталитарной действительности, когда нужно было научиться не только выживать, но и хорошо жить — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Этот роман является продолжением «Календаря капельмейстера Коциня», который в свою очередь повествует о событиях в Латвии времен второй мировой войны. Сверстники Маргерса Зариниша и люди чуть помоложе безусловно прочтут в этих романах больше, чем в них написано на самом деле. За каждым литературным героем ощущается реальный прототип, за каждым анекдотом — реальное событие. Возможно, когда-нибудь оба романа издадут с комментариями и каждая страница будет пестреть звездами и цифрами, а в конце книги можно будет прочесть о том, как все

происходило в действительности. Пока же, к сожалению, подлинной для латышей является не столько та история Латвии, которая изложена на бумаге, сколько та, что хранится в их головах, рассказах и фантазиях. И рядом с официальной ложью, реальной действительностью и современным фольклором мило улыбается, даже усмехается проза Маргерса Зариньша. Конечно, в жизни все происходило трагичнее и надрывнее, но Маргерс Зариньш представляет все это облегченной, абсурдной игрой. Здесь уместно заметить, что это одна из черт латышского национального характера, поскольку по сути своей история Латвии настолько трагична, что для того, чтобы выжить, нужно было быть слесобным многому легко и элегантно улыбнуться.

Вполне вероятно, читателю иной культуры и иного языка, который почти ничего не знает о подлинных событиях в Латвии последнего полувека, о послевоенных судьбах художников, усвоить эти романы будет довольно сложно. Они могут оставить легковесное, поверхностное впечатление, так как эти книги написаны для тех, кто знаком с официальными и неофициальными мнениями. В прозе Маргерса Зариньша много от фельетона, и наиболее беспощадно автор относится к самому себе, своим достижениям в жизни и искусстве. Фамилия главного героя Коциньш (дереацо) в латышском языке бесконечно близка к Зариньшу (веточке).

В этом номере мы публикуем лишь небольшой фрагмент. В полном объеме роман выйдет в будущем году на русском языке в издательстве «Лисесма».

Будь этот роман опубликован даже лет через пять после написания, он прозвонил бы в литературной и общественной жизни эффект разорвавшейся бомбы. Хотя, вероятнее всего, он так и не увидел бы свет в те годы, его уложили бы в какой-нибудь официальный сейф или на льдную полку в некоей тайной комнате, ключи от которой обычно пролапают и никто больше не хочет их отыскивать.

Когда в конце прошлого года роман появился в книжных магазинах, он был быстро раскуплен, однако рецензий на него было очень мало, поскольку почти все литературные критики подались сражаться в Народный фронт, вскоре после этого прошел съезд Интерфронта, все сочиняли резолюции, бурно пытались улучшить Конституцию, больше думали о будущем республики, нежели о ее прошлом и литературных тонкостях. Роман вообще приняли очень спокойно, потому как сегодня этим годам, тридцати трем послевоенным годам, можно уже и улыбнуться.

Андрис ЯКУБАН



ТРЕВОЖНЫЕ ТРИДЦАТЬ ТРИ

Фрагменты из романа

Перевела Жанна ЭЗИТ

* * *

— День рождения не удался! — призналась Джульетта, когда на завтра Гвидо явился на «экзерснсы». — Слишком много стариков собралось... Живут одними воспоминаниями... Странно, ведь мы ровесники, но у меня с ними нет никакого контакта. Похоже, отстаю от них по темпам старения... А было бы здорово, если бы мы такой тесной компанией — молодые поэты, писатели, художники, а может, даже и актеры — собирались на «литературные пятницы». Как вам моя идея?

— Идея неплохая, — кивает Гвидо. — Только не приглашайте этого очкастого гражданина, который отказался вчера слушать Арагона. Что это за тип?

— Конрад Стукис. Редактор литературного журнала, ведущий критик. Большой друг Карлиса, его поддержка и опора.

— Он столько елечу вылил на ваши картины и на стихи Сармона, что меня затошнило. А Баярс так весь вечер и промолчал.

— Да, он человек со странностями... очень замкнутый. Карлис считает, что он чересчур отгородился от мира. Но они остались лучшими друзьями.

— А эта милая тетушка, поклонница Пурвнта?

— Это Альбертина Пучка, графоманка... Все еще сражается за Советскую власть в Латвии и не понимает, что она уже завоевана. Конрад Стукис сделал все, чтобы ее избранные пьесы издали в четырех томах.

— Ну и как? Какие отзывы?

— Блестящие. Только ни один театр не ставит.

И все-таки поставили . . . В театре на доске объявлений черным по белому: следующая премьера — «Морские орлы» Альбертины Пучки (шестого октября!). Это как же? А очень просто! Слишком долго канителлся Карлис Сармон с финалом «Героев Тирельских болот». Все тянул и тянул кота за хвост, и вот результат. К декорациям еще даже не приступали, а сроки поджимают. У каждого учреждения свой план, свой график.

Директор Витолс звонит в министерство: что делать? Ему отвечают: главный администратор Таубе вопрос уже уладила. Готова в отпущенный срок поставить «Морских орлов» Альбертины Пучки и спасти ситуацию.

Пьесу предлагали театру давно, но Даугавиетис наотрез отказывался.

— Поживем — увидим, — сказали чиновники из управления. — Помощник режиссера театру когда-нибудь да понадобится.

И до чего же ловко противники дона Аристида вышибли старика из седла! Небольшая группа актеров поклялась вывести театр Аполло Новус на единственно верный путь — на путь социалистического реализма, употребив для этого методы Станиславского. Возглавила группу Лина Таубе — отличный организатор, честь ей и хвала! Не сосчитать, сколько раз побывала «там» (никогда не уточняя — где), уведомляла о нетерпимой творческой атмосфере в театре. Чрезвычайно одаренные актеры, такие, как Роберт Вилсон, Фредис Вилкинс и Эсмеральда Урловская, без конца жалуются на Даугавиетиса, называют его склочником. Никакого порядка . . .

Да хоть бы с тем же Робертом Вилсоном. Сразу же после освобождения Риги у Даугавиетиса не хватало актеров, и он, якобы из жалости (вы подумайте только, из жалости!), зачислил Вилсона в хор. В хор!!! Актера, который в годы буржуазной Латвии подвергался постоянным преследованиям и гонениям, который в начале двадцатых годов основал в Риге «Театр отверженных»!

Предположим, Даугавиетис всего этого мог и не знать, как не знал и того, что она, Таубе, в молодости играла с Книппер-Чеховой, но ведь всякий порядочный режиссер со временем может восполнить свои незнания, однако Даугавиетису это и в голову не пришло! Во всех пьесах, классических или современных, многообещающему актеру Вилсону Даугавиетис поручал незначительные, а то и оскорбительно третьесортные роли, чаще всего роль лакея! Дошло до того, что коллеги прозвали Вилсона Роби-Лакей! А этот Роби, извините, на заре своей молодости работал во МХАТе, это он сам подтвердил: в 1919 году два, а то и три месяца играл во МХАТе — ровно двадцать восемь лет назад . . . сейчас Роберту лет сорок семь . . . вполне возможно, беженцами они оказались в Москве . . .

— Ну и что? — смеялись актеры. — МХАТу тоже требовались слуги. Роберт примкнул к Лине Таубе, Вилкинсу, Эсмеральде Урловской и объявил войну буржуазному романтизму Даугавиетиса. Вчетвером они всему миру докажут свою правоту! Так вот и получилось: Даугавиетис только-только собрал актеров в фойе и приступил к читке, а Лина Таубе и ее ансамбль уже сновали по сцене. Главным «морским орлом» назначен, само собой разумеется, Роберт Вилсон. В роли контр-адмирала такого-то. Его адъютантом — Фредис Вилкинс. И Эсмеральда Урловская за долгие годы наконец-то получила приличную роль.

— Ну, теперь держитесь, товарищи! Превратим Аполло Новус в учреждение образцовой культуры!

Художественное оформление спектакля доверено Джульетте Сармон, другого художника-оформителя в театре пока нет. Лина Таубе предварительно ознакомилась с ее картинами и портретами. Убедилась: художница — стопроцентная реалистка; именно такая на сей раз и требуется. Ибо задача предстоит нелегкая.

— У меня совсем иной подход к декоративному оформлению спектакля, — заявила Таубе. — И у актера, и у зрителя должно возникнуть чувство абсолютной реальности. Поэтому декорации мы исполним в трех измерениях.

— Как это — в трех измерениях? — опешила Джульетта.

— Очень просто . . . Первое действие, как вам известно, происходит в сосновом лесу среди дюн Болдераи. Стволы сосен придется делать из фанеры, круглыми. Потом раскрасить. Ветки с иголками прикрепит бутафор, это не ваша забота. На авансцене насыпем слой песка, но очень толстый. Что ни говорите, актер все-таки будет бродить по дюнам. В песке укрепим настоящие пни и вокруг них — настоящий черничник, с настоящими ягодами, чтобы актеры, разговаривая, могли в паузах кидать ягоды в рот. На такие конструкции, конечно, потребуется время, и немалое, и еще больше времени потребуется на реконструкцию, однако у нас уже есть договоренность с аккордеонистом Поповым: специально для антракта он сочинит попури из наиболее известных мелодий Дунаевского, так что публика особенно скучать не будет.

— Или эта Таубе не в своем уме, или я больше ничего не понимаю! — ужасалась Джульетта.

— Новейшее направление в искусстве! — сказал мастер сцены в рабочей спецовке. — В опере не так давно взгромоздили на сцене пятьдесят кубометров лесоматериалов. Грандиозная получилась священная роща, и дуб-великан посередке. А когда на колосники еще и месяц нацепили, тут уж разразились овалции. Публика нынче пошла изысканная, тряпьем ее не удивишь, уважаемая!

Джульетта, мастер сцены и бутафор старались в поте лица. И — кто мог подумать! — за две недели загромоздили сцену действительно на славу. Режиссер — товарищ Таубе — за неслыханно короткий срок поставила неслыханно длинный спектакль! Актеры не скрывали интереса: с чего начнет рушиться? В Аполло Новусе никогда ничего подобного не видали.

В ближайшие дни ожидалось обсуждение спектакля ареопагом: принимать или не принимать? Ходили слухи, что явится само руководство ареопага (*civis romarum*) в лице Константина Шпонберга, старика чрезвычайно въедливого. Будут также представители торговой палаты и флота.

Заведующий литературной частью Гвидо Галейс нервничал: вполне вероятно, что и ему предложат отчитаться перед ареопагом, надо подготовить доклад. Он тщательно проанализировал пьесу, вскрыл ее принципиальные недостатки и пришел к выводу — режиссер никоим образом не улучшила пьесу, спектакль ниже всякой критики.

Перелистав доклад, Даугавиетис сказал: — Нет! — и категорически запретил секретарю выступать перед ареопагом.

— Я с твоим мнением абсолютно согласен, — признался дон Аристид, — но для ареопага оно не годится. Свои личные соображения оставь при себе . . . Управление пьесу раз-ре-ши-ло! Поэтому твой доклад будет воспринят не как нападки на автора или режиссера, а как нападки на правительство. Гораздо эффектнее, если Таубе и Вилсон провалятся сами, без нашей помощи . . . Если и директор согласится на эту галиматью, и управление, и, тем более, министерство, пусть режутся на здо-

ровье, а мы прикинемся дурачками . . . Я, может быть, еще и похвалю Таубе за какой-нибудь явный промах.

— Что такое — промах? — не понял Гвидо.

— А-а, это по-древнегречески. Из терминологии ареопага.

Впервые слова Даугавиетиса так глубоко огорчили Гвидо. Он считал маэстро большим человеком и большим художником. И вот оказалось — дон Аристид способен на дешевые интриги . . . Личный секретарь Даугавиетиса с грустью взял тетрадь афоризмов и крылатых слов маэстро и, открыв чистую страницу, записал:

конформизм — порок для гениального человека непростительный.

АРЕОПАГ

Что такое ареопаг? Ареопагом называется торжественный церемониал, во время которого мудрые советы и благие наставления чередуются с наивным вздором и демагогическими постулатами. Истоки ареопага надо искать в Элевсине. На элевсинские таинства регулярно собирались ученые мужи — риторы, гностики и киники, чтобы обсудить и дать оценку комедиям и трагедиям язычников — Аристофана и Эсхила, после чего выделяли этим авторам путевки (подорожную) в амфитеатры Антиохии, Иллирии, Латакии или Колхиды.

Перед тем как войти в означенное помещение, участники ритуала — просвещенные мужи — надевали маски. Уже тогда маски были тройкие: трагические, комические и устрашающие (трагикомические). Какую из них в соответствии с ситуацией выбрать, решали сами участники. Чаще всего они путали карты: сторонники Аристофана надевали трагические, сторонники Эсхила — комические маски. А в чрезвычайной ситуации, когда над Олимпом нависала опасность, кое-кто предпочитал надеть маску чудовища пострашнее: притвориться Медузой Горгоной или выдать себя за полномочного представителя Зевса, чтобы таким образом приструнить зарвавшихся ораторов.

Таковы краткие исторические сведения, которые Гвидо Галейс присовокупил к преамбуле протокола. Сегодня, 4 октября, он будет молчать и тщательно записывать ход обсуждения и сами суждения, ибо дон Аристид велел своему секретарю и рта не раскрывать.

— Ладно, — согласился Гвидо, — буду молчать . . . Но протокол включу в собрание сочинений Даугавиетиса. Пусть потомки читают, удивляются и сами судят о доне Аристиде и о времени, в котором он жил.

Извлечение из протокола

Пока все собираются в кабинете директора, сижу в уголке под пальмой и рисую чертиков . . . В профиль . . . Удачнее всего получаются у меня чертики в профиль . . . главный признак чертовщины — нос . . . Почти вся страница изрисована . . . Наконец появляется глава ареопага (Civis membrum) Константин Шпонберг. Внешние приметы: долговязый, несколько сутулый товарищ с седой козлиной бородкой. Лицо непроницаемое, губы ниточкой. Ни на кого не смотрит, никого не слушает, однако и видит и слышит все . . .

Представитель судоремонтного завода (забыла назвать свое имя и фамилию) — круглая молодая женщина в вязаной кофте. Очень даже недурна.

Художник и специалист по вопросам декоративного оформления Бите-Битник . . . Когда-то работал у Третьякова (слегка навеселе).

Убеленная сединами Альбертина Пучка — автор. Поклонница Пурвита . . . Вид довольный, убогатворенный . . . Строчит как из пулемета — да-да-да! А вот и режиссер, товарищ Таубе. Трижды целуется с молодой женщиной с судоремонтного, здоровается со Шпонбергом, произносит: хорошо, Костя, что лично сам пришел! (Очевидно, близкие знакомые.)

Заседание ведет директор Витолс. Справа от него — Джульетта и Даугавиетис, слева — Таубе. Гости расположились на диване.

— Может быть, начнем? — предлагает директор.

— Минутку, минутку! Сейчас должен прийти Роберт Вилсон, — говорит режиссер.

— Уже идет!

В адмиральской форме, при всех орденах появляется Вилсон. Прямоком со сцены; некогда было переодеться (имея в запасе полчаса!) . . .

При виде адмирала Шпонберг инстинктивно вскакивает и щелкает каблуками . . . Потом спохватывается и делает вид, что собирается открыть форточку.

— Дышать нечем, — бормочет он. — Товарищи, попрошу во время заседания не курить!

— Но, Костя, здесь же никто не курит! — в простоте душевной говорит Таубе (ну и гусыня!).

Шпонберг смотрит на нее бешеным глазом, идет открывать окно и про себя чертыхается. (Как увижу адмирала, тут же . . . старая флотская выучка . . . рефлекс . . . Похоже, оплошал немного . . . Еще эта дура! «Ко-остя, здесь никто не ку-урит . . .» Тьфу!)

Слово берет режиссер.

— На сей раз задача у нас была трудная. Пришлось ломать укоренившиеся реакционные традиции. Я стремилась показать наших героических современников в реальном восприятии, без всяких прикрас. И доби-лась я этого благодаря коллективу Аполло Новуса, который поддержал меня — все как один! — и будет поддерживать в дальнейшей борьбе. Особую благодарность хочу выразить исполнителю роли адмирала Роберту Вилсону. Спустя долгие годы на сцене вновь появился герой, который, несмотря на свое простое происхождение, умеет внушить к себе уважение — но, вероятно, лучше меня об этом скажет товарищ Шпонберг.

— О чем я скажу, это уж мое дело, товарищ Таубе! — прервал оратора начальник. — Лучше о своих делах говорите, обо мне не беспокоитесь!

Инцидент развеселил присутствующих (для ареопага случай из ряда вон выходящий).

— Ах да . . . — соглашается режиссер. — О своих делах . . . В этой связи, товарищ Шпонберг, коллектив театра благодарит вас за то чувство удовлетворения, которое вы доставили убеленной сединами писательнице. Ее льесу, по непонятным причинам, заведующий литературной частью отвергал уже трижды. Вы отстояли «Морских орлов», вы рекомендовали и вы . . .

— Что я отстоял и что я рекомендовал, это моё личное дело, товарищ Таубе! — *civis membrum* чуть не кричит, козлиная бородка трясется. — Но поскольку у вас ничего не рекомендовал, поскольку я ничего не отстаивал, прошу вас говорить о своих делах. (Старик просто в бешенстве.)

«Что она ко мне привязалась? Эту галиматью я сегодня впервые вижу. Позвонили, распорядились — принять! — и амба! Мог ли я предположить, что этакое дерьмо . . . Вероятно, и сами не читали, понадеялись на великую писательницу . . .»

Записываю тайные мысли Шпонберга. Их легко прочесть на его побарбированном лице с дрожащей бородкой. Но Костя человек с большой буквы: начальство подводить не станет. (— Пусть наверху сами расхлебывают свою кашу. Я здесь «пі ргі њот», братцы . . .)

Слово просит представитель судоремонтного завода.

— Я простой зритель, дорогие товарищи, мне спектакль ужасно понравился . . . Как-то так, как-то так . . . Эту жизнь мы, судоремонтники, хорошо знаем. Углевозы, танкеры, новый Милгравис и старая Даугава. У вас и здесь пахнет рыбой . . . Ужасно красиво, и актеры говорят . . . как-то так, как-то так . . . И большое спасибо тете Лине за приглашение. И седой писательнице. Нет — ужасно, ужасно понравилось . . .

— Может быть, у вас есть какие-то пожелания? — подал голос директор.

— Пожелания? Да! Товарищи, пишите еще больше пьес о пахарях моря, судостроителях, водолазах и рыболовах.

Аплодисменты.

— Спасибо! А теперь о декоративном оформлении. Может быть, у товарища Битника какие-нибудь замечания?

— Нда-а . . . в общем и целом: положительно . . . Целую ручку (в сторону Джульетты). Декорации, можно сказать, монументальные, но — это ни в коем случае не упрек, нет, нет! — в сцене у моря, на мой взгляд, немного многовато песку . . . Среди деревьев и трава растет. Конечно, не то чтоб густая, но все же растет, целую ручку . . . У меня следующее предложение: там и сям воткнуть по кустику травы, может быть скомпоновать песок с зеленым ковром . . . впрочем, вы сами лучше меня знаете, что и как, целую ручку . . .

— Премьера состоится, товарищ Бите! — спешит подтвердить режиссер.

— В таком случае мне больше добавить нечего . . . Спектакль надо утвердить.

— Прежде чем предоставить слово руководителю ареопага, может быть несколько слов скажет товарищ Даугавиетис?

— Да, это можно. — Дон Аристид поднимает глаза к потолку и шумно, тяжело вздыхает. — Так вот! Есть спектакли, которые мгновенно забываются, есть и такие, о которых помнишь долго . . . Я до сих пор хорошо помню старого Шинкельмана, в Елгаве у него была бродячая труппа. А вот Гедерта Пуцишу в роли дона Карлоса забыл. Как же так? — спрашиваю я себя иногда. — Как же так? Почему помню Шинкельмана, а Гедерта Пуцишу забыл? Странно . . . однако это так. Особенно сегодня, когда мне впервые в жизни довелось увидеть плоды столь тесного сотрудничества автора и режиссера, я говорю: пожалуйста! Симбиоз равноценного вкуса и равноценного таланта двух равноценных существ! Чего нет в спектакле, того нет и в пьесе, а чего нет в пьесе, того нет и в спектакле . . . Поиски, поиски . . . старый Шинкельман из Елгавы был озабочен поисками героического тенора, зато у Гедерта Пуцишу именно такой голос и был, но вечно осипший, пьяный . . . Как говорится, рука руку моет и . . .

— Итак, ваше предложение — принять? — теряя терпение, перебивает директор.

— Принять не принять, ни убавить ни прибавить, что есть то есть! — подытоживает дон Аристид, а Джульетта прячет нос в платочек.

— Слово товарищу Шпонбергу.

Козлобородый вытаскивает из портфеля красную папку с надписью «Doklad», раскрывает и берет исписанный лист бумаги.

— Товарищи! Начало первой послевоенной пятилетки характеризуется всеобщим мощным подъемом. План поставок мяса и молока наша республика выполнила на 107 процентов. Не намного отстали от них и зерновки. Все стремительнее идет восстановление разрушенной войной промышленности. Мы приступили к строительству колхозов. Но и деятели культуры идут в ногу со стремительным темпом жизни. В республике действуют более десяти театров, а в них более пятисот актеров. Наши писатели уже написали более двадцати пьес, из них более десяти уже поставлены театрами республики. Премьера каждой нашей пьесы — событие, имеющее далеко идущие последствия. Поэтому мы вправе потребовать, чтобы спектакли не тащились в хвосте выдвинутых авторами идей, чтобы каждый режиссер придавал любой пьесе современное звучание. Выдерживает ли критику то, что мы видели сегодня? Скажу так: и да, и нет.

Работа актеров, сама по себе, удовлетворяет, однако, тем не менее кое-где еще появляется по мизансцене. Но в режиссерской трактовке (и это мы не имеем права замалчивать) наличествуют некоторые существенные недостатки. Назову только две вопиющие нелепости, которые в этой инсценировке позволила себе товарищ Таубе.

Первая. Икауниекс и Райбацане сидят на пне рядом с бензохранилищем. У него в руках автомат, у нее — бутылка. Темнеет, и зрители слышат вой сирен, оповещающих о воздушной тревоге. Гитлеровские стервятники, ведомые потомками фашистских псов-рыцарей, начинают бомбардировать порт. В обстановке, когда требуется как можно быстрее замаскировать все без исключения объекты (этого требуют элементарнейшие правила противовоздушной обороны), режиссер начинает действовать как вражеский агент: приказывает осветителю направить пучок света прямо на влюбленных, мол, пусть враг прицеливается! Замечательно, не правда ли?

— Между ними должен начаться важный диалог, — бледнея, оправдывается режиссер.

— Важный диалог?! Что для вас важнее: диалог или жизнь двух советских людей? Категорически настаиваю: Икауниекс и Райбацане должны говорить в темноте.

— Но у них там такой текст . . . — пробует возразить режиссер. — Что подумает публика, товарищ Шпонберг?

— Прочитайте текст, товарищ Таубе, — приказывает директор.

* * *

Так . . . Сцена погружается во тьму

Райбацане. Я подержу твой автомат, Миша . . . А ты возьми тринитрол.

Икауниекс. Ты слишком возбуждена, торопишься. Потерпи минутку . . .

Райбацане. Нет, настал подходящий момент . . . Более удобного случая мы не дождемся . . . Они ничего не увидят . . .

* * *

— Хм-м . . . — соглашается Шпонберг. — Такой разговор в темноте . . . не годится . . . Придется подумать . . .

— Пусть они играют, но молча, — глядя в потолок, произносит дон Аристид.

(Всеобщее веселье, опять ритуал ареопага нарушен.)

— Призываю к порядку! — кричит директор. — Товарищ Шпонберг, будьте так любезны, продолжайте.

— Словом, мы подумаем, товарищ Таубе... Что касается второго замечания. О канонерках. Я прекрасно знаю, как выглядят канонерки, ибо сам служил во флоте. У канонерок прожектора спереди, а вымпелы — на зад. А у вас, товарищ Таубе? Прожектор сзади, а вымпелы — спереди.

— Эту ошибку допустил бутафор, — кричит Таубе. — Я не могла этого знать.

— Как же это получается? — *Civis membrum* удивлен. — Кто же в конце концов ставил пьесу, бутафор или вы?

— Вечером сделаем! — обещает режиссер.

— Так! — закругляет свою речь Шпонберг. — Если все перечисленные недостатки будут устранены, на шестое октября можете назначать премьеру. Возражения есть? Возражений нет. Спасибо за внимание!

Ареопаг завершился. Участники ритуала снимают маски, утирают пот и спешат по домам, где их ждет обед. А Лина Таубе бросается искать бутафора.

— Проклятая канонерка! — шепчет она. — У-у, обезьяна, перед всем коллективом осрамил... Ну и шельма!

«Метаморфозы» Каспар завершил всего за месяц до того, как в газетах появилось сообщение оргбюро о том, что нынешней весной состоится первый пленум латышских советских композиторов. Авторов, изъявивших желание быть представленными в концертах, просят до такого-то и такого-то числа предъявить свои заявки оргсекретарю Видиньшу.

Каспар рассудил, что пришло наконец и его время заявить о себе, или, как сказал бы Даугавиетис, доказать свою правоту. Сунул толстые партитуры «Метаморфоз» и «Пылающего ночного органа» в портфель и направился по указанному адресу.

Оргбюро находилось в роскошном, в стиле ренессанс, особняке напротив Кировского парка. Поднявшись на несколько ступенек по дубовой, покрытой яркой ковровой дорожкой лестнице, Каспар остановился.

«Чувство такое, что все это я когда-то видел. Может быть, во сне? Очень знакомое место...» На площадке второго этажа на полу лежала покрытая слоем пыли гипсовая фигура Венеры Милосской. И тут Каспар совершил мальчишеский поступок — схватил богиню и поставил ее в стенную нишу:

«В память о моем первом восхождении на музыкальный Олимп. Да благословит меня Венера Милосская!» (Она так до сих пор и стоит в нише на лестничной площадке.)

На третьем этаже Каспар осторожно постучал в дверь, табличка на которой гласила:

«Секретарь оргбюро принимает с 11 до 18, обеденный перерыв с 14 до 15».

«Попал в самую точку. На сытый желудок товарищ Видиньш будет поговорчивей», — решил Каспар.

— Вы по какой линии? — вежливо спросил лысый товарищ за письменным столом.

— По линии пленума... Хочу предложить вам пару вещей.

— А-а! Значит, вы композитор?

— Приблизительно так...

— Ваша фамилия?

— Коцинь. Каспар Кристович Коцинь.
 — Коцинь . . . Не слышал . . . Где работаете?
 — В театре Аполло Новус. Пишу музыку и дирижирую.
 — А-а! А где работали во время оккупации?
 — Там же . . .
 — Дирижером?
 — Нет, капельмейстером . . .
 — Что вы хотите нам предложить? Сольную, хоровую песню?
 — Нет. Я недавно закончил два симфонических произведения. Вот (он вытащил из портфеля партитуру). Это — для хора, шести тромбонов и ударных. Мой подарок ко Дню Победы над фашизмом.
 — Великолепно! — сказал оргсекретарь и растерянно уставился в партитуру. — Но у нас намечен только один симфонический концерт, на два симфонических музыки не наберется . . . Длинно! — Оргсекретарь листал и одновременно считал страницы. — О-о, какая длинная!
 — А это еще длиннее, — сказал Каспар, вытаскивая из портфеля вторую партитуру. — Концерт для фортепьяно с оркестром, называется «Метаморфозы».
 — Ай-яй-яй! У нас намечен только один симфонический! — отрецивался обеими руками секретарь. — Кроме того, вас же никто не знает . . . Вас когда-нибудь исполняли?
 — А как же! Лаудот Лигошу дирижировал моим скерцо (враки!), дирижировал адажио для струнных (враки, враки!). Лаудот Лигошу знает меня лично.
 — Знает лично?
 Оргсекретарь озадаченно смотрел на партитуру . . . В партитуре он, к сожалению, ничего не понимает. Он в основном решает и оценивает, так сказать, в общественном порядке . . . когда специалисты уже выскажут свое мнение.
 «Черт его знает, — думал при этом Видиньш, — может, он и в самом деле тот, за кого себя выдает, то есть композитор и к тому же Коцинь, я в Риге недавно, молодых не знаю . . .»
 И тут товарищу секретарю пришла в голову преотличная мысль:
 — Вы только что сказали, что знаете дирижера Лаудота Лигошу. Значит, договоримся так: вы ходите к нему, покажете свои партитуры и если Лаудот признает вашу музыку и захочет ее исполнять, — пожалуйста! У нас возражений не будет, если он запланирует.
 Тут открылась дверь, и в кабинет без стука вошел длинный взъерошенный человек в галошах, с кипой нот под мышкой.
 — Сампетерс! — представился он. — Людвиг ван Сампетерс!
 — Ну и что? — удивился оргсекретарь Видиньш. (Каспар мгновенно оценил ситуацию и сунул партитуры в портфель.)
 — Мое имя вам ни о чем не говорит? — после глубокомысленной паузы спросил Людвиг ван Сампетерс.
 — Простите, по какой линии?
 — По этой! — воскликнул Сампетерс и грохнул об стол кипой нот — только пыль столбом поднялась. — Благодарю за приглашение, напечатанное в газете. Берите и исполняйте все, что тут есть . . . Лично я предлагаю — начать с восемнадцатой.
 — Ах, с восемнадцатой! (Наконец и оргсекретарь сообразил, с кем имеет дело.)
 — Всего я написал девяносто симфоний. Последняя для двойного хора, вот ее-то вам в столь сжатые сроки подготовить будет трудно. А восемнадцатая — камерная симфония. Пять диэзов или семь бемолей, как вам будет угодно . . .

— Товарищ Вампетерс . . .

— Простите, Людвиг ван Сампетерс.

— Дорогой товарищ Сампетерс! Мы наметили только один симфонический. Поймите, только один . . . Метраж — два с половиной часа. В программу уже включена третья симфония профессора Велдре.

— Что? Велдре? Третья? Грандиозно: опять симфония профессора Велдре! При Ульманисе написал первую — хвалили, при немцах написал вторую — хвалили. Теперь написал третью, еще не исполнили, а вы уже на брюхе ползаете. Стыдно! Я в этом не участвую!

— Успокойтесь, товарищ Вампетерс!

— Людвиг ван Сам-петерс! . . Нет, не участвую. Я вижу, я не ко времени и не к месту . . . Но я могу ждать. Товарищи, я могу ждать! Семь столетий я жду и согласен еще. Вот вы оба, вы хоть догадываетесь, сколько будет стоить эта куча рукописей через семьсот лет? Пардон, уважаемый, не прикасайтесь: ни одна страница не должна пропасть. Бонжур, адье! Я уйду, чтобы вернуться через семь столетий! — сказал Людвиг ван Сампетерс, взял пакет с нотами, ушел и захлопнул дверь в настоящее.

— Фу-у! — вытер со лба испарину оргсекретарь. — Не кажется ли вам, что он несколько того . . .

— Мы все, кто причастен к искусству, несколько того, товарищ оргсекретарь, — сказал Каспар Коцинь, — но этот не несколько, а как следует того . . .

Лаудота Лигошу Каспар знает еще по консерваторским временам. Сейчас Лаудот знаменитый дирижер — у него и хор, у него и симфонический оркестр. Каспар рискнул и направился к нему.

— Так и так, у меня тут два новых опуса, — начал он несмело. — Решил показать, но ты наверняка исполнять их не станешь.

(С Лаудотом Лигошу, если хочешь чего-то добиться, делай ход от противного — отвергай.)

— Наслышан, наслышан: сочиняешь. Тромбон продал. И теперь в Риге не хватает тромбонистов. Феноменально! А ну, давай сюда своего кота в мешке!

Лаудот открывает партитуру и читает: «Посвящается Дню Победы над фашизмом . . .»

— Раньше были экспрессионисты и импрессионисты, теперь конъюнктуристы . . . Ладно, ладно! Шучу . . . «Метаморфозы» для фортепьяно и симфонического оркестра. Ты только глянь! И пианиста нашел?

— Я. сам!

— Сам-с-усам! Ну давай, садись. С партитуры будешь барабанить?

— Наизусть.

— Тогда давай твои ноты, буду следить!

Каспар ведет фортепианную партию, Лаудот вначале пытается отбивать полифонические ходы и контрапункты в нижнем регистре, но вскоре ему надоедает, и он принимается дирижировать невидимым оркестром. Каспар играет и украдкой следит за выражением лица дирижера, которое становится все одухотворенней. Левая рука указывает на оркестровое вступление, а сам он время от времени выкрикивает:

— Чтоб мне провалиться! . . Тут тебе удалось . . . а tempo: pizzi, pizzi, pizzi . . . это блестяще . . . просто ослепительно! Govno, это вон! Fermata! — величественно закончил он, проткнув указательным пальцем небо. Хм-м . . .

Каспар вытирает пот, а Лаудот Лигошу без сил опускается на диван. И снова принимается листать партитуру. Делает какие-то пометы каран-

дашом. Это уже что-то — заинтересовался! «Теперь надо подлить масла в огонь», — решает Каспар и говорит:

— Смотри, но, пожалуйста, побыстрее! . . . Если не возьмешься, отдам Салтупу.

— Что-о?! Салтупу? Халтупу? Салакуче? Ну, этот тебе намешает! О «Метаморфозах» скажу откровенно: ни черта в них нет, но я сделаю! Как Велдре: говенная музыка, а я ее по-своему . . . Феноменально получится! Держись за меня, и никаких Салтупов-Халтупов!

— У меня есть еще Ода для хора, — говорит Каспар, вытаскивая из портфеля «Пылающий ночной орган», — но там шесть тромбонов. Капельмейстер Битнер утверждает, что шести тромбонов в Риге не набрать.

— Тоже мне Битнер! Нужно будет, найду шестьдесят. Не в тромбонах собака . . . А ну, дай сюда твою оду. Одурачить небось собрался?

— Стоит ли показывать! — решил покочетничать Каспар. — Технически сложная . . . Нужен хороший хор. И не какой-нибудь, а очень хороший. Придется обратиться к Государственному академическому.

— К Государственному? Академическому? Ты что, не в себе? Ты слышал, как эти скоты поют?

— Прости, не слышал, но мне сказали . . .

— Сказали-мазали . . . Ни бе, ни ме! — вот что тебе сказали. Приходи завтра в Большую гильдию. Мой хор поет. Хор Лаудота Лигошу. Певцов не ахти сколько, но я свое гну. Рахманиновские «Колокола» . . . Феноменально! Гну, пока в дугу не согну. Давай!

Партитуру Лаудот так и не выпустил из рук. Даже после того, как «Пылающий ночной орган» отзвучал на пленуме, никому ноты не отдал. И автору не вернул. К счастью, дома у Каспара был черновик. И вот уже расклеены афиши. В программе симфонического концерта премьеры, премьеры. Третья симфония Велдре; Ода и «Метаморфозы» для фортепиано молодого, неизвестного композитора Каспара Коциня; симфонический «Рассказ о современнике» Язепа Бреслауэра.

— Кто такой этот Коцинь? — поинтересовался знаменитый и облаканный публикой поэт-песенник Антон Воплиньш у коллеги Кетерлини.

— Никто его не знает . . . кажется «оттуда», — ответила Корнелия Кетерлиня, — только что «всплыл». Кого только не несет к нашему берегу . . .

В поиске подходящего фрака и белого жилета Каспар целый день провел в костюмерной театра. Слава богу, нашел.

— Отлично! — сказал Гвидо, обойдя Каспара со всех сторон. — Высший класс! Теперь держись!

Утром радио сообщило, что из Москвы в Ригу прибудет Арам Хачатурян, второй после Шостаковича советский композитор. Приедет не один, с ним члены секретариата, ведущие музыкальные критики Мартынов и Зильберштейн, словом, по высшему разряду. Позвонил Лаудот Лигошу:

— Слышишь, только не волнуйся! Положись на меня!

За ним Даугавиетис:

— Без паники, Каспар! Докажи всему миру свою правоту!

И наконец Джульетта:

— Не надо волноваться! Мы все придем и будем держать кулаки!

В конце концов Каспар вышел на сцену ни жив ни мертв. В зал и глянуть боялся: в первом ряду сидит Хачатурян и изучает программку (об этом Каспару шепнул Лаудот Лигошу, подглядывавший сквозь щелку в дверях гардеробной). Первое отделение уже отзвучало, и успешно. Велдре, прослушав свою симфонию, ушел. В антракте публика подкрепилась горячими московскими пирожками. И вот теперь все судили-рядили, чем

после третьей (патетической) симфонии Велдре смогут удивить молодые.

— Держится парень как штык. Посмотри, какой важный... Идет, даже на публику не глянет... толком и не поклонился... Высоко летает, да где-то сядет... — Такие и им подобные реплики, произнесенные, правда, шепотом, кое-где прозвучали. Джульетта сердито оглянулась, шикнула — шшш!

— Начинаем последнее отделение последнего концерта пленума! — раздался голос ведущей.

Хоры, оркестры камерной, эстрадной и духовой музыки уже отчитались. Вчера переполненный зал восторженно аплодировал Антону Воплиньшу с его романсами и Корнелии Кетерлине с ее популярными песнями. Автобусами везли учителя на эти концерты детишек из провинции. Зато сегодня на симфоническом — пустовато...

— Дорогие гости, дорогая молодежь! — обратился оргсекретарь к слушателям на русском языке.

Хачатурян с любопытством оглянулся, окинул зал взглядом. Со второго, третьего, четвертого ряда ему улыбались убеленные сединами тети и дяди (организованные оргсекретарем оргпенсионеры). Хачатурян улыбнулся, поклонился, шепнул что-то Зильберштейну. Зильберштейн улыбнулся и шепнул что-то Мартынову. И Мартынов бы улыбнулся, но как раз в эту минуту прозвучало стремительное *allegro diabolico* из «Метаморфоз», которое через несколько тактов перешло в *presto satanico furioso*.

— Раз уж пришпорил коня (как сказал бы Юлий Цезарь), не оглядывайся. Мчись вперед, ураган!

Наутро Джульетта призналась: музыка Каспара показалась ей мятежной. В отличие от олимпийски-бесстрастной музыки Велдре.

А Гвидо и Уксус кричали: автора! автора! — ибо публика почему-то не желала аплодировать. Убеленная сединами молодежь выглядела просто испуганной... Однако восторженными криками и подношением цветов домочадцы добились, что и пенсионеры снизошли и снисходительно похлопали: ну, ладно, пожалуй, ничего...

А Лаудот Лигошу тем временем исхитрился трижды вывести Каспара на сцену, заставляя кланяться публике и кланяться. Хачатурян что-то старательно записывал на прогаммке, а Воплиньш, Кетерлия и критик Петерстокис, сидевшие в последнем ряду, шушукались и фыркали.

Затем оркестр исполнил симфоническую поэму Язепя Блеслауэра «Рассказ о современнике». Бреслауэр недавно окончил Ленинградскую консерваторию. Учился у Щербачева и Шостаковича, писал смело и оригинально. Каспар стоял за сценой и, слушая сквозь приоткрытую дверь, испытывал чувство зависти. Да! Вот так бы и ему, но до этого он еще недорос... Что-то от Малера, что-то от Веберна. Многослойная тональность сменяется чистой атональностью. Только в полифонии я, пожалуй, еще могу тягаться с Бреслауэром... и несомненно в эмоциональной насыщенности... Ибо для меня главное — чувство, для него — разум!

Снова жидкие аплодисменты, и снова Лаудот Лигошу успевает трижды вывести автора на сцену поклониться публике. Как это ему удается?

Концерт завершается Одой Каспара Коциня.

Появляется хор, весь в черном. На часах без пяти десять. Лаудот Лигошу вскидывает руки. Гремят трубы пылающего ночного органа, грохочут тимпаны. С балкона несутся зловещие звуки тромбонов. Двенадцать больших и двенадцать малых барабанов возвещают конец света. И вдруг гробовая тишина...

Хор начинает реквием:

По черным улицам белые матери,
судорожно простерлись, как по гробу глазет.
Выплакались в орущих о побитом неприятеле:
«Ах, закройте, закройте глаза газет!

Дым,

Дым,

Дым еще!

Что вы мямлите, маяча, мне?

Видите —

весь воздух вымощен

громыхающим под ядрами камнем!

Ма-а-а-ма!

Снова звучат тромбоны. Шесть тромбонов в унисон — фа!

(— Вы представляете, как звучит унисон тромбонов в низкой октаве — фа?) —

И хор подхватывает в унисон, только октавой выше: фа!

Славься, человек,

во веки веков живи и славься!

Всякому, живущему на земле,

Слава,

Слава,

Слава!

— Маяко-о-вский! — кричит Гвидо и в мгновение ока оказывается на сцене. Он обнимает Каспара, Джульетта вручает розы Лаудоту Лигошу, а публика спешит в гардероб. Аплодирует хор, музыканты смычками отбивают такт *col legno* — Bravo, старик!

— Преисподняя разверзлась! — говорит Корнелия Кетерлиня, ковыляя вниз по лестнице. — У меня перепонки лопнули. Ты не знаешь, Воплиньш, хорошего ушника?

Лаудот Лигошу потащился вместе со всеми в коммунальную квартиру. Дирижер пребывал в состоянии эйфории и все повторял: феноменально! И настаивал на том, чтобы коллективно sprysnuty хотя бы «Пылающий орган».

— Разве я не говорил, что сделаю? Так что сегодня двойной праздник победы.

Каспар молчал. . . . Был ли то праздник победы или поражение, выяснится только завтра. В одиннадцать утра в круглом зале оргкомитета начнется обсуждение концертов пленума.

Главным докладчиком на обсуждении оргсекретарь назначил музыковед и музыкального критика Петерстокиса. Конечно, Видиньш как секретарь обязан был обнародовать точку зрения оргбюро, но! — неудобно говорить — программа концерта духовой музыки состояла сплошь из произведений самого Петера Видиньша, тем более неловко хвалить самого себя. . . . Поэтому он предпочел Петерстокиса. Но тот тоже был не дурак. Решил прежде выведать, что думают по этому поводу гости из Москвы, чтобы, таким образом, высказать свою принципиальную точку зрения. Однако гости вели себя странно. После того как Петерстокис свозил их на Рижское взморье, сводил в концертный зал «Дзинтари», на правительственных ЗИСах прокатил до самых Кемери, где гости пригубили сероводородной водицы и кое-чего покрепче, он задал невинный вопрос: «Ну как, Арам Ильич, каково ваше мнение о композиторах

Советской Латвии в целом?», Арам Ильич ответил по-армянски: «Сомпе il faul!», и тут же принялся превозносить гостеприимство рижан. В тех пятидесяти коттеджах в Яундубулты, которые директор оргбюро по быту Саруханов только что вырвал у Юрмальского дачного треста, смогут отдыхать композиторы со всего Советского Союза! А песок — золотой! Такой пляж он встречал только в Болгарии. В области музыкального творчества Яундубулты — настоящее открытие!

Больше ничего Петерстокис так и не узнал . . . Дело осложнялось . . . После симфонического концерта он долго не мог заснуть . . . В конце концов решил заострить внимание только на яундубултских дачах и связанных с ними творческих проблемах.

— Дорогие гости! Уважаемые товарищи, коллеги! Неполные два года со дня освобождения Советской Латвии от фашистских захватчиков были плодотворными для наших композиторов, ими написаны три оперы, три балета, две симфонии, десять кантат, одна ода, два концерта, одна метаморфоза, одна симфоническая поэма, тридцать хоровых песен, шестьдесят эстрадных и детских песен, двадцать романсов, две баллады, восемь элегий и один траурный марш композитора Петериса Видиньша. (Аплодисменты.)

Товарищи! На Рижском взморье — в Яундубулты — в распоряжение композиторов передано пятьдесят дач. На этом основании мы заключили с композиторами пятьдесят договоров. С условием, что в перспективе на каждой даче будет написано одно монументальное произведение.

Товарищи! Недаром яундубултский пляж славится своим «золотоносным песком». Такая флора и фауна имеется только в Болгарии. Мы питаем надежду, что в будущем году к нам приедут композиторы со всего Советского Союза. Ибо . . . Ах, да! Этим пожеланием, товарищи, и разрешите мне завершить мой краткий обзор проделанной оргкомитетом работы и наших будущих планов. Спасибо за внимание!

— Коротко и ясно! — радостно обалдел фольклорист Юлий Яснайс. Сидевший рядом с ним критик Берзкалнс скривился:

— Что за доклад! Неужели это утвердил оргкомитет?

— Ну и отмочил! — прошептал оргсекретарь и не мешкая предоставил слово Араму Ильичу Хачатуряну. (Быстренько внести ясность, нечего мнимальничать!)

Хачатурян поднялся на трибуну. Стройный, худощавый, черные вьющиеся волосы, греческий профиль. Восточного типа глаза — слегка навывкате, огненные и выразительные.

«Похож на Генделя», — подумал Каспар, сидевший вместе с Бреслауэром в самом темном закутке круглого зала. Как и подобает в таких случаях, гость передал горячий привет и наилучшие пожелания от секретариата Союза композиторов СССР, поблагодарил за оказанное гостеприимство, похвалил традиции латышской хоровой музыки и все такое прочее. А потом перешел к делу.

— Должен признаться, музыку латышских профессиональных композиторов я слушал впервые. К сожалению, прозвучавшие на концертах пленума произведения (за небольшим исключением) довольно традиционны, как бы оторваны от жизни . . . Такое впечатление, что большинство ваших композиторов как в области техники, так и в области идей отстали на сто лет. (В зале ерзанье.) Простите, но у нас с вами профессиональный разговор и нужна предельная откровенность. Потом вы сможете мне оппонировать . . . Особенно хочу остановиться на прозвучавших в концертах песнях и романсах. Почему ваши авторы придерживаются давным-давно изживших себя сладких, вялых интонаций позднего романтизма? С точки зрения современных критериев, не выдерживают

критики салонные романсы композитора Воплиньша. На низкий вкус рассчитаны и песенки Корнелии Кетерлини. Мне посчастливилось познакомиться с латышскими народными песнями и танцами в записях. Вот на какие традиции должен опираться композитор-песенник. Кроме того, музыкант не может работать в отрыве от того, что создано в мире за последние десять-двадцать лет. Советская власть предоставила вам все возможности, чтобы вырваться вперед. Есть прекрасные образцы творчества, например Прокофьев и Шостакович. Они — создатели нового направления в советской музыке. Сегодня художник должен быть новатором. Что же такое новаторство? Новаторство это процесс, сознательно объединяющий традиции и эксперимент. Только в этом случае можем ожидать открытий. Но нельзя экспериментировать только ради экспериментаторства, нужно иметь конкретную цель. К сожалению, поисков и открытий в вашей музыке до обидного мало. Были и исключения. Я убежден, что такое произведение, как Третья симфония Велдре, сегодня может звучать и на всесоюзной арене. Велдре — зрелый художник, знает, чего хочет. Понравился и «Рассказ о современнике» молодого композитора Бреслауэра. Когда ведутся активные поиски, и находки не заставят себя ждать. Залогом этому его трудоспособность и талант (поэма написана спустя месяц после окончания консерватории).

«Метаморфозы» Каспара Коциня привлекли внимание новизной, юношеской отвагой. Правда, чувствуется влияние Стравинского и французских импрессионистов, но в то же время вещь совершенно самостоятельная. О том, что от этого композитора можно ждать сюрпризов, говорит и его «Пылающий ночной орган». Несмотря на неуравновешенность формы, эта вещь оставила впечатление реквиема. Похоже, работая над нею, композитор находился во власти глубоких переживаний . . .

Дальше Каспар уже не слушал. «Я спасен! — пронеслось в голове. — А как придется бедняжкам Воплиньшу и Кетерлине?»

Корнелия Кетерлиня сидела в первом ряду, и глаза ее метали искры, когда она пыталась переслать записку профессору Юлию Яснайсу. Воплиньш, обхватив голову руками, сгорбился на стуле. Жена успокаивала его:

— Тоник, Тоник . . . народ с нами . . . А этот пусть говорит что вздумается!

Вслед за Хачатуряном выступили критики Зильберштейн и Мартынов.

Выписка из протокола:

Зильберштейн. Писать традиционно означает спать и не грешить. Ибо кто спит, тот не грешит. Так ли это? Нет и еще раз нет! Тех, кто к своему творчеству относится как к ремеслу, переубедить будет нелегко. Но с этой трибуны я хочу обратиться к молодым, особенно к Бреслауэру и Коциню: не робейте! Художник имеет право на ошибку. Не преодолей столько трудностей, например, Шостакович, вряд ли он стал бы великим художником. Сейчас Дмитрия Дмитриевича исполняют, его музыку любят не только в Советском Союзе, но и во Франции, Англии, в Соединенных Штатах Америки, в . . .

Корнелия Кетерлиня (из зала). Почему музыку, которую любят капиталисты, должны любить и мы?

(Оргсекретарь обрывает Корнелию и предоставляет слово Мартынову.)

Мартынов. Тут, однако, мы можем несколько поспорить. В искусстве нет готовых рецептов. Новаторство и смелость — концептуальные понятия. Мы здесь слушали разных композиторов. Не надо только всем навяз-

зывать один-единственный якобы правильный подход. Художник должен обладать полной свободой творчества. Можно не принадлежать к авангарду, но писать интересно. Можно быть традиционалистом, как, например, Велдре, но нельзя быть серым, нельзя быть равнодушным к жизни. Что касается народности и национальной окраски, то вряд ли унылая слащавость, присущая музыке Воплиньша, характерна для латышского народа. Мы слушали народные песни и танцы, а я лично еще очень хорошо помню кое-какие песни латышских красных стрелков (Мартынов начинает напевать «Прощай, сторонка Видземел!»), но эти интонации отсутствуют в ваших романсах.

Жена Воплиньша (с места). Он продолжатель стиля Дарзиня в латышской музыке, этого-то вы и не поняли!

(После того, как эти слова переводят Мартынову, он отвечает, что с таким же успехом Воплиньша можно назвать преемником и продолжателем стиля Шуберта, а еще лучше — Чайковского. Но композитор должен быть творцом своего стиля, а не продолжателем чужого.)

Разражается скандал. Корнелия Кетерлиня что-то кричит, Воплиньш встает, ударяет себя в грудь и произносит:

— Я латыш, я им останусь, вечно буду латышом!

А несчастный оргсекретарь знаками дает понять, что заседание закрывается.

— На двадцать минут! Гостей просим пройти в сад. Освежиться. На террасе накрыт стол с прохладительными напитками!

Воспользовавшись тем, что все отправились утолять жажду, Каспар решил исчезнуть «по-английски»: уйти, ни с кем не попрощавшись. Взять шляпу и — только его и видели! Хотя жаль, конечно. Споры становятся все горячее и интереснее, временами так просто весело, но косые взгляды и язвительные замечания по его адресу (большинство заседавших вышли на террасу, в зале остались только жены, дочери и сестры композиторов) вынуждают Каспара ретироваться как можно скорее, пока окончательно не испортилось настроение.

«Бреслауэр уже исчез, и правильно сделал. Сейчас и я последую за ним», — решил Каспар и выскользнул на роскошную лестницу. Прямо напротив ниши с Венерой Милосской.

— О, это же в мою честь! — засмеялся он весело и нежно похлопал богиню по заду. — Разве не знаменательно! В честь первого моего восхождения на Олимп я сам же ее туда и водрузил.

То ли Каспар слишком долго задержался в вестибюле, то ли не сумел уйти «по-английски», но следом за ним на лестницу выскочил Петерстокис.

— Я искал вас в саду... Куда вы исчезли? Хачатурян хочет с вами поговорить, — захлебываясь словами, сказал известный музыковед. — Молодец! (Петерстокис ударил Каспара по плечу.) Так им и надо! (Схватил и долго тряс руку Каспара.) Да здравствует Шостакович! («Интересно, что он предпримет дальше?» — подумал Каспар.)

— Сердечно благодарю от имени Дмитрия Дмитриевича! — ответил Каспар и стал спускаться вниз.

— Минуточку! — остановил его Петерстокис. — Мне заказали две чрезвычайно важные статьи: одна о Шостаковиче, вторая о концертах пленума. Хочу взять у вас небольшое интервью. Над чем сейчас работаете? Вы видели в Москве «Катерину Измайлову». Я не видел. Но я хочу отозваться положительно и сослаться на вас. Я могу это сделать? И «Нос» тоже? Ах, «Нос» не знаете? Верно, нечего совать нос в дела, в которых не разбираешься!

Отделавшись от Петерстокиса, Каспар увидел себя уже в Кировском парке, танцующим и поющим:

— Не жизнь, а качели — туда и сюда,
Ах, как ты прекрасна, тир-ли-ля-ля-ля!
Все, что обещала, ты мне дала,
Смех да и только — тир-ли-ля-ля-ля!

Каштаны цвели, скошенная трава благоухала, капельмейстер танцевал.

— Надо сообщить Гвидо и Джульетте о триумфе, тра-ля-ля! — решил Каспар, вдоволь напрыгавшись на зеленой травке.

(Ну и дурака сваяля! Не поторопись он, услышал бы речь Петерстокиса. Одна половина ее была посвящена новаторским тенденциям в латышской музыке, вторая — композитору и капельмейстеру Каспару Кристовичу Коциню. Был бы жив старый Крист! Этакое внимание!)

— Я еще раз доказал всем неверующим свою правоту! — воскликнул дон Аристид после выпускного вечера. — Срочно нужна была театральная студия, срочно нужны были актеры. Кадры измельчали. Кто из стариков еще на уровне? Не о Терезе Талей речь и не об Антоне Раусисе, их портреты маслом висят в фойе рядом с моим бюстом (без моего на то согласия). Ну да ладно — оба они были и остались ведущими актерами Аполло Новуса. Но как долго я буду опираться на двух ведущих? Пора и о молодых подумать — дающих. Есть вершки, нужны и корешки.

Два с половиной года Элеонора Бока пестовала с десяток молодых актеров, и двое из них — Регина Райта и Имант Скалдерис — оказались необыкновенно талантливыми.

— Духовный потенциал народа, искусственно сдерживаемый в тяжкие годы оккупации, пробивает себе дорогу и клокочет как вулкан, — сказала на экзаменационной комиссии маэстро. — Скалдерис и Райта — два жемчужных зерна, находка Элеоноры.

Никто и никогда не слышал еще, чтобы Даугавиетис столь высоко оценил актера. «Что это со стариком приключилось? — заволновался Антон Раусис. — Уж не собирается ли он выдворить меня на пенсию? Пусть только попробует! За что же тогда мне недавно присвоили народного?»

На выпускном экзамене Имант Скалдерис и Регина Райта показали сцены из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».

— Впервые в жизни вижу и слышу готового Ромео, — шепчет прямо в ухо Боке дон Аристид. — Кто он, этот Скалдерис?

Элеонора протягивает анкету.

Неполное среднее. Игрок республиканской сборной по хоккею. Чемпион Союза. Недолго учился пению у Егоровой. Родители во время войны пропали без вести. Выростила крестная. В немецкую армию не призвался ввиду несовершеннолетия. Иностранными языками не владеет.

— Впервые в жизни вижу готового Ромео, — повторяет еще раз Даугавиетис. — А Джульетта?

— Регина Райта. Портниха. Работала в артели «Красная блуза». Переводчик. Ушла с работы, чтобы полностью посвятить себя театру. Родители во время войны пропали без вести. Была на принудительных работах в Восточной Пруссии. Вернулась после войны. Ни одним иностранным языком не владеет.

— Именно такие мне и нужны. — Дон Аристид доволен, а Имант Скалдерис и Регина Райта внесены в штатное расписание театра.

Даугавиетис обратился к директору с блестящей идеей:

— Провалиться мне на этом месте, но к московским гастролям мы должны подготовить «Ромео и Джульетту».

— Ваша идея запоздала, — возразил Витолс, — до поездки в Москву осталось меньше полугода.

Но для Даугавиетиса это не довод. Он начинает ходить по инстанциям, хлопотать, звонить в столицу и — вот так штука! — министерство уже не возражает и вместо пяти гастрольных спектаклей утверждает шесть. Дон Аристид лишний раз доказал свою правоту.

— Ну, начнется штурмовщина! — проинформировала управление главный администратор Лина Таубе. — Однако вряд ли Сармон успеет с декорациями. Она и с общественной работой не справляется . . .

Что правда то правда. Джульетта Сармон избрана председателем месткома: единственная надежда таким образом обуздать наполеоновские замашки Лины Таубе. Так что только успевая поворачиваться: декорации пиши, с теми, кто срывает репетиции и нарушает дисциплину, борись, кому дать, кому не дать путевку в санаторий — решай, кому почетную грамоту, а кому денежное пособие — думай. Кошмар!

— Зачем ты взвалила на себя столько? — удивился доктор Матулис. (Джульетта только что позвонила ему и попросила прийти. Что-то ей не по себе . . .) Старый фронтовой друг, несмотря на поздний час, явился тотчас. Джульетта лежала на кровати. Голова обмотана мокрым полотенцем.

— Нервы! — пожаловалась она. — Прости, что потревожила, но твоя помощь и твой совет на сей раз просто необходимы . . . Меня всю трясет . . .

— Перегрузка явная. Пойми, Джульетта, годы твои уже не те . . .

— Ах, значит, и ты считаешь, что я старуха? — нервно засмеялась больная.

— Как раз наоборот, ты слишком молода . . . Карлис рассказывает, у вас тут каждую пятницу вечеринки . . .

— А что еще Карлис тебе рассказывает?

— Мне? — удивился Матулис. — Что ты имеешь в виду?

— Что? Может быть, ты кое-что знаешь о наших отношениях с Карлисом . . . О его делишках?

— Нет. Он ничего о ваших отношениях не рассказывал. А что же он такого делает?

— Когда дома, ничего не делает . . . Сидит в своей комнате, знай себе курит и курит и смотрит в окно . . . Он вообще дома бывает редко. Вдруг исчезнет на несколько дней, а когда возвращается, ничего не рассказывает.

— Вам надо бы сесть — все очень просто — и спокойно поговорить.

— Поговорить? Мне моя гордость не позволяет унижаться и расспрашивать: где был? что делал? Практически мы почти полгода не разговариваем . . . Просто не о чем. Обедает он в редакционном буфете, а ужин в нашем доме не готовят: домоправительница наша после пяти молится богу. Кто хочет перекусить, идет в кладовку и сам себя обслуживает. (Губы Джульетты дрогнули.) Но Карлис и кладовку уже не открывает . . .

— Может быть, занят? — попытался успокоить Матулис. — Я Карлиса часто встречаю с Андреем Баярсом в писательском погребке. Сидят себе, обедают.

— Да, мне говорили . . . Похоже, в его таинственных похождениях женщина не замешана . . . Женщинам Карлис не нравится — это я на сто процентов знаю . . . Неинтересный он человек . . . Я и сама особой любви к Карлису никогда не испытывала. Привычка — и все . . . Сошлись во время войны . . . С таким же успехом моим мужем мог стать ты (Матулис

замахал руками) или Конрад Стукис, или Опинцанс . . . Кто только вокруг меня не увивался . . . Помолчи! Да и выглядели вы все одинаково: шинель, кирзовые сапоги . . . Сейчас у меня такое чувство, что мы совсем чужие. Но я себя унижать и обманывать не позволю! Так ему и передай, слово в слово . . . Если все это будет продолжаться . . .

— Может быть, Карлис ревнует тебя к мальчишкам, которых ты собираешь по пятницам? — спросил Матулис. — По-моему, ты ведешь себя чересчур эгоистично.

— Ну так пусть он мне скажет об этом, пусть обвинит! Я докажу, что для ревности у него нет ни малейшего повода.

— Да, плохо . . . Что-то грызет вас обоих . . . — подытожил знаток нервных заболеваний. — Силы воли не хватает объясниться . . . Бойтесь: как бы чего . . .

— Зачем трепать нервы? Передай Карлису вот что: если ему нечего мне сказать, то и мне нечего ему сказать и — баста!

— От этой нечеловеческой нагрузки в театре ты все-таки откажись . . . Сиди дома и рисуй себе на здоровье.

— На здоровье? — Джульетта даже села на кровати, отшвырнув мокрый компресс. — Когда Карлиса всю ночь нет дома, сидеть и спокойно рисовать?! Ты хоть понимаешь, что говоришь! Я потому и попросила общественную нагрузку, попросила дать работу, чтобы не сидеть дома . . . Вот и сегодня, вернулась домой, а Ялна говорит, что звонил Карлис — опять не придет домой. Нервы и не выдержали . . . Попробуй найти его завтра и выяснить . . .

— Попробую . . . Но какое я имею право вмешиваться в его личную жизнь?

— Не в его жизнь, в нашу жизнь . . . Я не желаю быть посмешищем!

Доктор Матулис оставил флакончик с бромуралом и ушел. — Попробуй успокоиться, — посоветовал на прощанье. — Спокойной ночи!

Джульетта осталась одна, но о покое нечего было и думать. Надо было еще перед кем-то облегчить душу. К счастью, Ялна сидела в своей комнатухе и занималась. Каково же было удивление девушки, когда Джульетта, не постучавшись, вошла, села и сказала: зашла поболтать.

— Как с учебой?

— Трудно . . . Взвалила на себя двойную нагрузку, — ведь я в латышской группе. Но не жалею: смогу лечить на двух языках. Для пациентов это очень важно . . .

— Может быть, тебе еще нужны деньги?

— Ой нет! — вспыхнула Ялна (вчера она одолжила у Джульетты денег на форму, а сегодня «крестная» как будто напоминает об этом), — спасибо! Я достала все, что нужно для практических занятий. Белый халат тоже. С первой же стипендии начну отдавать.

— Ничего тебе не придется отдавать, милая Ялна, это ты заруби себе на носу! Судьба привела тебя сюда, и моя обязанность тебе помогать. Потому что твоя мать все, что у нее остается от зарплаты, отдает в Храм спасения.

Ялна опять покраснела. На сей раз не столько от стыда, сколько от злости.

— А вы, крестная, точно знаете, что мать все деньги относит в Храм спасения? Зачем же говорите об этом мне? Ей скажите, чтоб перестала.

— Девочка, милая! Каждый волен распоряжаться своими деньгами так, как считает нужным. Ведь и от тебя я не требую никаких доказательств или чеков, подтверждающих, что ты истратила деньги по назначению. И все-таки жаль, что Бетия . . .

— Простите, крестная, мне надо заниматься... С анатомией шутки плохи... Один несданный зачет, и прости-прощай стипендия... Профессор не примет никаких доказательств и чеков, объясняющих, куда я растратила свое драгоценное время.

— Ты только глянь! — Джульетта встала, хотела как-то уязвить, но только надулась. — Ладно! Не буду мешать товарищ Борхерт заниматься научной работой, — сказала она, выходя. — И учти, что юные дарования всегда могут рассчитывать на мою благосклонность, я все пропускаю мимо ушей и никогда не обижаюсь.

Известие о том, что Сармон стал прикладываться к рюмочке и навешиваться в рестораны, все-таки немного успокоило Джульетту.

— Меня теперь больше беспокоит твой муж, — сказал при встрече специалист по нервным болезням. — Ибо ты не пропадешь, ты своего добьешься, а Карлис — существо абсолютно беспомощное. Как парус на мачте — куда ветер подует, туда и повернет. Упаси бог, если концы запутаются!

(«Карлис пьет? Слава богу... От пьянства еще никто не умирал, — успокаивала сама себя Джульетта. — Главное, натошак выпить стопку самогона. Пока я ищу самогон, пусть тешится».)

У каждого свои слабости. И Джульетта не исключение: у нее это — врожденная потребность опекать молодых энтузиастов. Каспару выхлопотала командировку в Москву, Галейсу еще и сегодня платит два червонца в час «ни за что». Ялну Борхерт встретила в своем доме почти как приемную дочь, не требуя никакой особой благодарности. Только признания, уважения и порядочности. Но вы же только что сами видели, какова современная молодежь, видели всю ее благодарность и порядочность. Не суй в рот палец!

— Не принимай близко к сердцу, Джульетта! — сказал доктор Матулис. — Твои декорации к трагедии Шекспира, на мой взгляд, великолепны... Не знаю, что эта заумная критика от тебя хочет... (Он намекал на Венеранду Аполоне, подругу и бывшего боевого товарища Джульетты, которая в своей рецензии заявила, что после декораций к «Морскому орлу» Джульетта Сармон нового слова сказать не в состоянии.)

Да, премьера «Ромео и Джульетты» стала для театральной Риги знаменательным событием. Даугавиетис и тут доказал свою правоту. Такой шекспировской по духу постановки латышская сцена еще не знала, сказал известный театровед Бебриш, и к нему присоединился музыковед Петерстокис, присовокупив к рецензии пару строк: «И музыка к спектаклю, написанная Каспаром Коцинем, на сей раз была почти шекспировской».

(Каспар обратился за разъяснением к Гвидо — что значит «шекспировская»?)

— Это значит, — сказал Гвидо Галейс, — что спектакль на сей раз был не лермонтовский, не блауманисовский, не шиллеровский. Тютелька в тютельку такой, как нужен вильям-шекспировский.)

Похвалы сыпались как из рога изобилия.

Львиная доля их, разумеется, досталась молодому льву — Иманту Скалдерису и его партнерше (львице) Регине Райте. Честное слово, великолепные актеры! Такими сегодня любая львиная пещера, простите, любой профессиональный театр может гордиться. Как, впрочем, и тогда гордились. Особенно Джульетта Сармон. Может быть потому, что ее звали Джульетта, а одаренного актера Ромео. Сколько раз она смотрела спектакль и снова и снова восхищалась игрой Иманта Скалдериса? Десять, сто? Хотите сказочку?..

Жила-была на свете стройная, темноволосая женщина. Мужчины называли ее увядающей розой. Она не пропускала ни одного спектакля «Ромео и Джульетты» и появлялась всегда в темно-красном платье . . . появлялась, чтобы смотреть и слушать главного Героя . . . Регину Райту она просто не замечала, ибо Регина Райта сидела в зале, а товарищ Сармон стояла на балконе . . . Ах, вот как . . . Это она, с нежностью вглядывается в веронскую ночь . . . Это на глаза Джульетты наворачиваются слезы . . . Из-за реки доносится колокольный звон, взгляд заволакивает туманом. Вскоре она уже не может отличить Ромео-актера от Ромео-боксера, влюбленного шекспировского героя от нападающего Скалдериса из команды «Динамо». Джульетта в хоккее не разбиралась, и в этом была ее грубейшая ошибка, за которую вскоре ей придется расплачиваться . . .

В театр примчалась буфетчица Белла.

— Кому тут можно пожаловаться? — обратилась она к главному пожарному. Старый Анскин указал на дверь, которую только что закрыла за собой председатель месткома товарищ Сармон.

— Что мне делать, товарищ Сармон? — вся в слезах, обратилась буфетчица к Джульетте. — Имант Скалдерис неделю назад выпивал в долг, обещался наутро денежки вернуть и — как провалился. А до двенадцати мне надо сдать кассу. Что лучше сделать: выпрыгнуть с шестого этажа или повеситься?

— Сколько он вам должен? — спрашивает Джульетта, вытаскивая из сумки изящный кошелечек.

— Триста пятьдесят пять рублей.

Брови Джульетты взлетели на лоб.

— Сколько? — переспрашивает она.

— Я же сказала: триста пятьдесят пять с копейками.

— Столько пропить нельзя! — убежденно произносит Джульетта.

— Можно! — настаивает буфетчица. — С ним были четыре дамы. Они заказали: красное шампанское, икру . . . зернистую . . . потом еще . . .

— Стоп, стоп! — перебивает Беллу Джульетта. — Как вы вообще пьяницам даете в долг?

— Так разве ж Имантику можно отказать? — робко возражает буфетчица. — Он ведь у меня такой . . . Вот вы лично могли бы ему отказать?

Джульетта не отвечает. Со злостью вытряхивает из сумочки деньги. К счастью, как раз утром выдали зарплату.

— Натё! — Она сует Белле деньги и чеканит: — Убирайтесь сию же минуту! И никому ни слова!

— Да за ради бога, гражданочка! — говорит буфетчица. — Мне-то что, коль родители платят.

Джульетта была выбита из колеи. И чего она влезла? Что заставило ее оплатить счет пьяницы? Не замалчивать надо было, на чистую воду вывести . . . чтобы неповадно было. Нет, этого делать нельзя . . . Ради Ромео . . . И буфетчица бы повесилась . . . Она заплатила только из-за нее, только поэтому! Бедная девочка . . . Имантик! Она сказала: Имантик! И еще: он у меня такой . . . Какой? Надо выяснить! Вызвать этого негодяя . . . Сказать ему: «Ромео, Ромео, занять у женщины и не отдать!» Ну и задам же я ему! Дела с Имантом Скалдерисом я еще не имела. Как он воспримет, если я сразу же, в лоб начну ругать его? Нет . . . Вначале надо помягче. («Где моя помада? — всполошилась Джульетта. — Неужто вместе с деньгами вытряхнула?») Она принимается искать на полу, но обнаруживает ее на стуле рядом с пудреницей.)

Обмахнув лицо пуховкой, взглянула на себя в большое зеркало, взбила темные волосы (ни одной сединки!). И только тогда позвонила наверх,

по внутреннему телефону. Ответила Регина Райта. Джульетта попросила, чтобы тотчас разыскали Иманта Скалдериса и передали ему, что как только он освободится, пусть зайдет в местком. Срочное дело. Его ждет товарищ Сармон.

Вид у Иманта, когда он вошел, был слегка обеспокоенный.

— Пожалуйста, присаживайтесь, — дрогнувшим голосом произнесла председатель месткома. — Только что у меня была с жалобой на вас некая буфетчица.

— Что? Белла приходила? — дернулся Ромео. — Что ей надо?

— Самую малость — деньги, которые вы истратили на шампанское.

Имант заерзал.

— Я...

— Ай-яй-яй, товарищ Скалдерис! Разве так поступает советский человек?

— Белла сама виновата... Всегда запишет больше, чем заказываешь... К-каналья!

— Зачем же вы обещали заплатить на следующий день? Разве это честно?

— Нормально! Я получил сегодня монеты, сейчас расплачусь.

— Сколько же вы получили?

— Сколько? Свой полтинник получил.

— А долг — триста пятьдесят и еще пять.

— Опять приписала! Ну и шельма!

— Странно, вы называете ее шельмой, она вас — Имантиком. Выходит, долг заплатить не можете, и девушка из-за вас собирается вешаться. Это ее собственные слова... Сегодня до двенадцати ей надо сдать кассу. Как вы считаете, что ей теперь делать?

— Я считаю, идти вешаться, ибо трехсот пятидесяти рублей у меня нет.

— Ей не придется вешаться, товарищ Скалдерис. Я эти триста пятьдесят пять рублей девушке уже отдала. У меня тоже, слава богу, сегодня была получка — ровно четыреста. Так что еще осталось около пятидесяти... Я надеюсь, со временем недостающее вы мне возместите...

Имант стал свекольного цвета... Блестящий актер, боксер и хоккеист покраснел как свекла...

— Я... — Дальше дело шло с трудом. — Я?.. Как же так... Отчего ж вы...

— Оттого, что я верю людям... И знаю, что девушка не обманщица, ничего не приписала, и вы меня тоже не обманете.

— Честное слово... Как-то так получилось...

— Вы не настолько циничны, товарищ Скалдерис, как пытаетесь выглядеть. В душе вы человек порядочный... в противном случае вы не смогли бы сыграть Ромео... На сцене нельзя, как тут передо мной, на сцене надо быть искренним. И там вы искренни... Могу подтвердить... Давайте договоримся: впредь вы и с людьми будете искренним.

— С вами — да! — сказал Имант. — С остальными — нет!

— Почему же?

— Потому что вокруг еще ту комедию ломают... Уж такие все герои, такие моралисты... А мне что же, одному дурачком прикидываться?

— У каждого свои недостатки, — Джульетта перехватила инициативу. — Но я озабочена вашей судьбой совершенно искренне. Хочу вам помочь, хочу, чтобы Имант-художник взял верх над Имантом-пустозвонном. Вот и буфетчица жаловалась, что вы швыряетесь деньгами, но все же дает вам шампанское в долг. В конце концов, в каких вы отношениях с этой буфетчицей?

— Простите, меня ждут на сцене, у нас репетиция, — отрезал Имант и встал.

— Идите! — поднялась и председатель местного комитета и протянула ледяную ладонь. Внезапно Имант наклонился, почтительно поцеловал протянутую руку и сказал:

— Мне стыдно . . . Я свинья . . . — и стремительно вышел.

Да, выражений не выбирает . . . вот оно незаконченное среднее плюс хоккей. Последние слова Скалдериса Джульетту неприятно задело . . . А руку все же поцеловал.

Взвинченная, недовольная, председатель месткома отправилась домой.

* * *

Время гастролей неотвратимо приближалось. Администраторы катались в Москву и обратно, товарные вагоны с декорациями стояли на путях в ожидании отправки. В отделе кадров оформляли документы, решали, кого пустить, кого не пустить в Москву. Поедут только те, у кого абсолютно чистая, безупречная биография. Кое-кого товарищ Таубе уже пыталась отстранить от поездки, например Каспара Коциня, его спасла лишь чрезвычайно важная должность капельмейстера. К тому же выяснилось, что Коцинь однажды уже был в Москве и там никаких преступлений не совершил.

Многие постановки, например «Огонь и ночь», показывать было просто нельзя: декорации мчались по рельсам в столицу. И Лина Таубе предложила в субботу и воскресенье вечером поставить «Морских орлов». Тем более что в Ригу в составе группы киноактеров на съемки двухсерийного художественного фильма «Золотое руно» прибыл и исполнитель главной роли — адмирал Вилсон, прибыл в звании заслуженного деятеля искусств. — Две репетиции — и готово! — утверждала главный администратор и режиссер спектакля.

— Товарищи! — с подъемом начал свою речь дон Аристид перед собравшимся на перроне Рижского вокзала коллективом Аполло Новуса. — Товарищи, вы и сами знаете, куда и почему . . . Так с богом!

В эту минуту подали московский состав, и Лина Таубе, не дождавшись конца выступления, воскликнула:

— Товарищи! Берегитесь поезда! Не попадите под колеса. В вагоны заходят только те, кого я вызову по списку. Посторонних просим покинуть перрон!

Товарищ Таубе назначена комендантом поезда. Она отвечает за порядок на пути из Риги в Москву, высадка на Ржевском вокзале, а там будет видно . . .

Решающий отбор состоялся за неделю до поездки: кто едет, а кто нет. Но до вчерашнего вечера еще было неясно, допустят ли Иманта Скалдериса до московских гастролей или «Ромео и Джульетту» придется вычеркнуть из репертуара . . . И только после того, как Джульетта Сармон клятвою обещала взять Скалдериса на поруки, в Москве не спускать с него глаз и всячески заботиться, чтобы юноша не опозорил республику, товарищ Таубе сдалась . . . (Имант, естественно, поехал бы и без разрешения коменданта, но дирекция на сей раз решила: ради всеобщего спокойствия надо предоставить товарищ Таубе перебежиться дома, иначе кто может поручиться, что она не начнет буйствовать в Москве . . .)

Коллектив Аполло Новуса — сто тридцать шесть человек в одинаковых серо-зеленых костюмах, в белых туфлях (мужчины к тому же в белых кепках) стоял в строю в ожидании команды товарищ Таубе — по вагонам! Костюмы у всех одного фасона — на мужчинах двубортные пиджаки, широкие брюки, белые рубашки и красные галстуки. На женщинах (примадонны и новенькие на равных) — жакеты с накладными плечами, обтягивающие бедра юбки, белые блузки. На лацканах у всех подряд не то номерки, не то значки с эмблемой театра и адресом, чтобы не потеряться в Москве . . . Каждому всучили горсть памятных жетонов: силуэты Риги, голубь мира, янтарь, сакта, которые надо во что бы то ни стало нацепить на москвичей, когда те придут встречать их на Ржевский вокзал и товарищ Таубе подаст знак. Костюмы рисовала Джульетта, а материал — сто тридцать шесть на три десять — управление выделило из постановочного фонда. Списало и отправило в артель «Балтийский портной». После чего все сотрудники театра (начиная с директора и кончая суфлером) один за другим предстали перед главным закройщиком — снять мерку. Портной всех тщательно перемерил, но, как ни странно, пиджаки у мужчин получились куцыми, зад в обличок, кое-кто выглядел настоящим пугалом, например мой друг Гвидо Галейс. А женские костюмы и того хуже . . . Очевидно, ткань по дороге со склада «Снабискусство» до артели «Балтийский портной» усела. Больше всех расстроилась Джульетта . . . Разве такие модели она рисовала?! Послала жалобу «Балтийскому портному», но артель доказала, что ткань, поступающая с «Нордекской мануфактуры», как правило, спустя несколько недель дает усадку по меньшей мере на одну треть . . .

Оставалось направить жалобу «Нордекской мануфактуре», но времени у Джульетты было в обрез. Бремя позора надо было нести ей одной, хорошо еще хоть Скалдерис выглядел более или менее сносно. А свой костюм она распоролла и оставила дома . . . Вернется, поговорит с Уксусом, пусть он ей растолкует, чем можно объяснить, что ткань, выпускаемая знаменитой фабрикой, поступив в артель, дает усадку на целую треть. И вообще, разве такое возможно и как это объяснить с точки зрения закона сохранения вещества? Зато из выделенных дополнительно предметов галантереи были розданы все до единого.

Совершенно новые тенниски (вместе с кусочком мела) и белые фуражки товарищ Таубе в театральном подвале распределяла среди мужчин целую неделю. Кроме того, каждому полагались плавки, майки и пара носок. Бесплатно! Комендантша работала с завидной быстротой: вызывала будущего владельца, велела расписаться и начинала отсчитывать:

Trusiks —

Есть! (соответствующий номер получает плавки).

Maika —

Есть! (соот. ном. получает майку).

Noski —

Есть! (с. н. п. носки).

Kepka —

Есть! (с. н. надевает кепку, и все дружно признают, что товарищу она идет).

Следующий!

Trusiks —

Есть! и т. д.

И вот настал наконец тот день и час, когда каждый облачился в выданную одежду, все места в вагонах распределены, паровоз шипит и пыхтит. Гвидо и Каспар едут в одном купе. Здорово! Рядом, за стенкой, слышны

голоса Скалдериса и Регины Райты. Ромео и Джульетты. Совсем здорово!

А где же настоящая Джульетта? Джульетте Сармон не повезло. Таубе распределила ее в вагон-салон, где едут Даугавиетис и директор, да не просто в вагон, а еще и в свое купе. Так как комендантше надо переговорить с Джульеттой относительно порядка и дисциплины во время гастролей в Москве. Она уже разработала основные правила.

— Поодиночке ходить не рекомендуется. Если захочется осмотреть город, пусть объединяются в группы . . . Если на улице подойдет незнакомый и заведет разговор, проявлять осторожность . . . Не говорить, откуда . . . В ГУМе и ЦУМе на чужом языке громко не разговаривать . . . Строго запрещается давать домашний адрес . . . Предупредить, что некоторые районы Москвы — например, Столешников переулочек — вообще опасны. Там встречаются лица, которые продают старые книги. Никто не в состоянии проконтролировать, что они там продают . . . И в этом же Столешниковом расположен крупнейший в Москве водочный магазин. Миллионный оборот . . . А за пьянку в Москве — в поезд и обратно в Ригу! О том, что фотографировать запрещено, вероятно, никому не надо напоминать.

— Вы говорите о дисциплине, товарищ Таубе, — замечает Джульетта, — но как же получается: я перед всеми обещала глаз со Скалдериса не спускать, а теперь даже не знаю, в каком вагоне он едет и с кем.

— Да, это, пожалуй . . . — соглашается комендантша, ищет список и долго его изучает. — Имант Скалдерис едет в седьмом вагоне, во втором купе вместе с Региной Райтой.

— С Региной Райтой! — с нарочитым ужасом восклицает Джульетта. — В одном купе с молоденькой, неопытной девушкой! Вы это специально подстроили, товарищ Таубе?

— Да, это . . . это . . . и правда, нехорошо, — запыхтела старая Лина. — А что ж теперь делать?

— Единственный выход — пригласить Регину Райту сюда, а я переберусь туда, и Скалдерис будет под присмотром. Нам надо обменяться местами.

Не успели доехать до Крустпилса, как все устроилось: надутая Регина в салон-вагоне слушает нравоучения Таубе, а Джульетта, затаящая в купе еще и Каспара с Гвидо, рассказывает чудеса:

— В Москве есть Столешников переулочек. Там разгуливают подозрительные типы, продают старые книги.

— Что? — Гвидо даже привскочил. — Букинисты? Может быть, там есть и антиквариаты? Как улица называется? — переспросил он и записал название в записную книжку.

— Сто-леш-ни-ков . . .

— Там есть и винный магазин, где продают красное шампанское . . .

— Стой, стой . . . и я запишу, — говорит Имант.

— За красное шампанское — в поезд и обратно домой, учти, Имант!

Уже поздно, актеры разбрелись по своим купе. Каспар и Гвидо тоже стали готовиться ко сну. Поступило распоряжение Таубе: немедленно спать, чтобы в Москву прибыть свеженькими как огурчики!

Когда Каспар забрался на полку, Гвидо заговорил:

— Не кажется ли тебе, что Джульетта разговаривает со Скалдерисом так, словно между ними установились интимные дружеские отношения?

— Нет. Это игра, в расчете на нас . . . Джульетта, бедняжка, очень страдает . . . когда Сармон бросил ее, она была уязвлена до глубины души . . . Хотя вряд ли их связывала такая уж большая любовь . . .

— Почему же Джульетта так огорчена?
— Кризис доверия . . .
— Как бы не впасть в еще бóльший кризис доверия. Это для всех нас было бы огромным несчастьем.

— Кого это — всех?
— Ведь она единственная, кто нас хоть как-то сплачивает . . . Тебя, меня . . . да и остальных — Укуса, Ялну, Бетию . . . А если с ней что-нибудь случится?

— С чего бы это с ней должно что-нибудь случиться?
— Позавчера вечером зашел «К Дульцинее» . . . Имант уже там. И опять с девочками. «Пьем, ребята. Когда деньги кончатся, старая вобла подкинёт». Вот что он сказал.

— Ты думаешь, он начал ею пользоваться?
— Я ничего не думаю, я сплю, — ответил Гвидо, и разговор прервался.

Конечная станция — Ржевский вокзал. Девять утра. Гремит духовой оркестр. Сотни встречающих. Актеры московских театров с цветами и плакатами. Студенты, железнодорожники. Просто прохожие. Приехавших приветствует Охлопков. С ответным словом выступает Даугавиетис. Речь написал Гвидо, а старик вызубрил наизусть. А потом опять духовой оркестр . . . Обо всем этом, конечно, можно рассказывать долго и красиво, во всяком случае рассказ занял бы страницы четыре, но сейчас это не главное. Главное — тот, кого директор представляет актерам:

— Векслер, Аркадий Иосифович, главный комендант и администратор. С этой минуты по всем вопросам обращаться к нему.

Это значит, что Лина Таубе уволена, кончилось ее время — и актеры аплодируют.

Главный приглашает актеров рассаживаться по автобусам, соблюдая следующий порядок:

— Все народные артисты, руководящие работники и сопровождающие их лица — в желтый автобус «А».

— Заслуженные артисты, заведующие цехами и отделами, а также администраторы — в зеленый автобус «Б».

— Простые актеры, музыканты и рабочие сцены — в красный автобус «В».

И вот под звуки марша автобус «А» взял курс в гостиницу «Москва», автобус «Б» — в «Европу», а третий, то есть «В», — в общежитие «Замоскворечье».

Каспар и Гвидо решили держаться вместе. Гвидо хорошо говорит по-русски и умеет торговаться, а у Каспара есть деньги и он немного знает Москву. Оба никак не могли решить — в какой автобус сесть? Рискнули ехать вместе с музыкантами через Москву-реку в «Замоскворечье». Приехали, устроились, только собрались идти в душ — смыть дорожную пыль, как прибежал Главный.

— Бедрис Гале! — сказал он. — Вы должны срочно возвращаться к маэстро. Собрались газетчики. Я вам устроил двухместный номер в гостинице «Москва», рядом с Даугавиетисом. Можете взять с собой кого-нибудь из актеров (только не рабочего сцены).

Гвидо назвал Каспара Коциня.

— Кто он такой? — недоверчиво глянув на Каспара, спросил Главный.

— Капельмейстер, — пояснил Гвидо.

— О, капельмейстер? Все в порядке. Едем!

Обедать будут в «Цедри».

Что такое «Цедри» Гвидо объяснить не смог (зря хвастался своим знанием русского языка). Придем разберемся . . .

К «Цедри» они подъехали одновременно с музыкантами и техническими служащими. Желтый дом, черная чугунная лестница. На втором этаже небольшой зал с верандой и удобным фойе. Куда ни глянь — накрытые столы, мелькают тарелки, вилки, ложки (ножей нет). Каспар, Гвидо и музыканты явились первыми. Поднялись наверх и решили, что сядут на веранде: оттуда красивый вид на сад. Только стали рассаживаться, как подскочил Главный и сказал: «Eto dĭa veduščih!», указывая на дверь, над которой красовалась табличка «А».

— А! Веранда для ведущих и народных артистов, — молниеносно сообразил Каспар и повел музыкантов в большой зал. Но там висела табличка «Б», и только в фойе над длинным накрытым белой скатертью и установленном тарелками столом они увидели свой литер «В». К тому времени собрались и остальные. В глубоком поклоне Аркадий Иосифович застыл у двери на веранду, пропуская директора, Даугавиетиса, Терезу Талей, Элеонору Боку и Антона Раусиса, вслед за ними шмыгнула и Лина Таубе.

Молодые актеры, технический персонал и музыканты уже хлебали первое блюдо (суп), когда к ним присоединились Джульетта и Скалдерис. Согласно табели о рангах Джульетте положено было находиться на веранде, но Иманта Скалдериса с ней туда пустить категорически отказались. Они добровольно перебрались в зал, но там не хватило порции первого блюда, поскольку по списку Скалдерис в зале не значился. Наконец оба пристроились в фойе — среди «В»-ешников, и вместе с Каспаром, Гвидо и музыкантами основательно подкрепились.

— Есть какие-нибудь претензии? — спросил после обеда Аркадий Иосифович.

— Нет, нет! Мы приехали сюда не объедаться, в Риге, слава богу, мы тоже пока не голодаем . . .

И в самом деле, задачи Аполло Новуса состояли совсем в другом — и на недостаток сердечности и теплоты ни один порядочный актер не мог пожаловаться.

«Это мы почувствовали на следующий же день вечером, когда в театре Незлобина «Огнем и ночью» Райниса открылись наши гастроли, — так в собрании сочинений Даугавиетиса записал Гвидо Галейс. — Какие овации, какой восторг! Народных артистов — Терезу Талей и Антона Раусиса вместе с Даугавиетисом публика вызывала по меньшей мере раз десять, преподнесла им лавровые венки, засыпала цветами. На следующий же день в «Вечерней Москве» появилась доброжелательная и серьезная рецензия.

Но самый большой успех выпал на долю «Героев Тирельских болот». Это была кульминация гастролей. Но об этом поговорим после расширенного заседания ВТО, на котором будет дана оценка Аполло Новусу и где будут присутствовать известнейшие театроведы, драматурги и критики Москвы» (См. А. Даугавиетис. Собрание сочинений, том V, издательство «Сцена»).

А вот свидетельства очевидца . . .

(Давным-давно почивший капельмейстер К. Коцинь в своих мемуарах обязательно отводил несколько страниц московским гастролям.)

* * *

— Благоухали сирень и акация вдоль Кремлевской стены . . . По вечерам, после спектаклей гуляли по набережной, бродили по цветущим лужайкам, стояли на Каменном мосту . . . А когда засверкали рубиновые звезды и над рекой разнеслись звуки курантов: «Мы не хотим

идти домой, мы не хотим!» — решили сегодня не ложиться — улицы так и манили . . .

* * *

— Как-то ночью на Собачьей площадке, возле Арбата, наткнулись на Джульетту и Иманта Скалдериса. Они стояли у колодца и смотрели на луну . . . и не видели, что мы смотрим на дом, где жил и работал Александр Николаевич Скрябин. Звучал Прелюд си минор оп. 11, № 6.

* * *

— На «Тирельские болота» примчался Карлис Сармон, но наутро уехал . . . Они не виделись . . . Джульетта поселилась в «Европе», и Скалдерис там же, только этажом выше.

* * *

Нас познакомили с молодым московским драматургом Иващенко. Отличный парень, чуть старше Гvido. Учится в театральном. Говорили через переводчика, но мой новый приятель немного знает немецкий, так что столковались . . .

— Тарас Семенович, где находится Столешников переулочек? — спросил Гvido. — Завтра у меня выходной.

— Что бы вы хотели: собрание Достоевского или Ахматову? — спросил Иващенко.

Гvido Галейс покраснел от счастья.

— Откуда вам известно, что я собираюсь покупать Достоевского и Ахматову?

— Сейчас в одном антиквариате предлагают воспоминания Мейерхольда. Из-под прилавка.

— «Воспоминания Мейерхольда из-под прилавка?» — удивился Гvido. — Латышская литература знает только «Ангела за прилавком».

— Ангел за прилавком за триста рублей найдет для вас «воспоминания».

— Сколько ты мне еще можешь одолжить, Каспар?

— Триста. Но больше уж не проси . . .

— Жизнь в Москве стала чрезвычайно интересной, — восторгался Тарас Семенович. — Новые замыслы, новые идеи так и носятся в воздухе. Чуть больше года прошло после войны с ее разрушениями, с ее горем — и смотрите! Какая весна, какая удивительная весна! Вы читали Твардовского?

— Твардовского не читали, но продуктов у вас вполне хватает, — сказал Каспар. — Когда год назад я приезжал на творческий семинар, жилище гораздо труднее.

— Да, скоро отменяют карточки, — согласился Иващенко.

— И люди стали лучше одеваться, — добавил Каспар.

— Тарас Семенович, вы не могли бы показать нам Новодевичье кладбище? Хотим побывать на могиле Маяковского, это для нас очень важно.

Узнав, что мы пишем оперу-буфф, Иващенко словно воспарил, готов выполнить любое наше желание. С радостью!

По дороге в Новодевичий монастырь Тарас показывал корпуса строящихся домов.

— Вон, вон и вон! Все это за один год построили. Мы по-настоящему еще не оценили потенциальную мощь русского человека. Если она наконец проявится, мы и космос завоюем!

Отличный парень этот Иващенко: настоящий патриот России. Мы, латыши, тоже должны быть такими же. Умеет он гордиться Москвой и москвичами!

Мы положили цветы и минуту постояли перед вполне натурально сделанным памятником. (Только что приходили пионеры и повязали поэту красный галстук. — Какая безвкусица! — возмутился Тарас Семенович. — Что сказал бы по этому поводу Владимир Владимирович?)

Гвидо думает: «Гранит и металл не гармонируют с куском простой ткани... Монументальное и преходящее, дешевое несоединимы... Вкус молодежи надо воспитывать — вот где работа для художников!»

Когда мы проходили мимо могил корифеев Московского Художественного театра и увидели надгробный камень Станиславскому, Гвидо сказал:

— Искусство требует обновления, а Станиславский застыл.

— Не согласен! — возразил Тарас Семенович. — Эту мысль подхватили и повторяют как попугай. При жизни Станиславский не стоял на месте. А вот те, кто причисляет себя к его преемникам, те, кто выдумал систему, те окаменели, застыли... Сегодня Станиславский был бы другим. От него же пошел Мейерхольд.

(Что будет с Даугавиетисом и его преемниками? Кто будет его Мейерхольдом?)

Иващенко все не мог успокоиться.

— Для того чтобы понять, кем был Станиславский, вам надо посмотреть пьесы в его постановке. И только после того, как увидите Чехова и Горького, гениально поставленных Станиславским, вы сможете судить о мастере и его системе.

За две недели, проведенные в Москве, впечатлений набралось более чем достаточно. Вечером — спектакль, а днем каждый час расписан — строго по программе. Собрались на Красной площади, и Даугавиетис возложил венок к Мавзолею. Потом, не дыша, спустились вниз, к вождю революции, и в глубоком молчании прошли мимо. Это был незабываемый момент, большинство испытало такое впервые... Вышли к Кремлевской стене. За серебристыми елочками эпитафии героям.

— Сколько латышских фамилий! — прошептал Гвидо. — Стрелки!

— Да. В годы революции и Даугавиетис был красным стрелком, — ответил я. — Погляди, как старик волнуется!

Вместе посетили еще Оружейную палату, а потом каждый был представлен самому себе, был волен делать, что хочет.

По одному не ходить — этот пункт памятки, разработанной Линой Таубе, все строго соблюдали. Ходили по двое (парочками). Кое-кто из молодежи успел познакомиться с девушками из ГИКа и ГИТИСа, кое-кто неожиданно воспылил чувствами к кому-то из своих, ибо как иначе можно объяснить исполненную среди ночи во дворе гостиницы под окном Лины Таубе серенаду:

— Тебя люблю я,
девушка из Латвии.
Родник в долине
душа твоя.
Тебя люблю я,
я это подтверждаю.

Ведь сейчас весна, милые друзья, московская весна! Мы словно растворились в миллионном городе. А не показалось ли вам, мой читатель, что и герои моего романа сюжетно распылены? Но все очень просто: здесь никто не интересуется нашими душевными переживаниями, нашим

настроением, стремлением пробиться наверх. На улице мы просто-напросто ничем не выделяемся. Я, например, считаюсь автором романа, но не смогу сказать, что в эту минуту делает Лина Таубе, где сейчас Джульетта и что взбрело в голову нашему донжуану — Иманту Скалдерису. Мне только наверняка известно, что Гвидо Галейс с Тарасом Семеновичем бродят по Столешникову переулку в поисках собрания сочинений Маяковского, Достоевского. Блока и Марину Цветаеву в красном переплете он уже достал.

Сам я сижу на обтянутой красной кожей табуретке в доме по улице Горького, 4. Внизу здесь коктейль-бар, на втором этаже — подниматься надо по извилистой лестнице — мороженое с ромом. Пью «Маяк»: внизу — зеленый шартрез, в середине яичный желток, а поверху — сливовый ликер.

Зеленый, желтый, синий . . . Это пьют не через соломинку, а все сразу, поучает бармен. Да будет так! Два стакана стоят полтора червонца. Почему два стакана? А, вот чего захотели — узнать, почему два? К сожалению, эту девушку познакомить с вами не могу, ибо не знаю ее фамилии. Для нас, латышей, главное — фамилия. А мне она представилась как Людмила Осиповна — и все . . . Встретились мы в коридоре Литературного института имени Горького.

В баре не принято сидеть и молчать, надо найти общий язык, но у нас это получается с трудом, ибо я не знаю русского, она — латышского. Решил начать со стихотворения (на латышском):

— Я король Помидор,
вы — королева помидура.

Она отвечает по-русски:

Смотрите: в лысине — тот —
это большой, носатый
плачет армянский анекдот.
Еще не забылось, как выкривил рот он,
а за ним ободранная, куцая,
визжа, бежала острота . . .

Не хочу остаться в долгу (по-латышски):

Помните!
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть», —
а я одно видел:
Вы Джоконда,
которую надо украсть!

Конец я проглатываю, так как Люда начинает мерцать и рассыпает искры, как фосфорическая, несмотря на коктейль «Маяк» и отрывки из поэмы Маяковского.

— Skušpo! — восклицает она и медленно, медленно поднимается в воздух вместе с красной тумбой, на которой сидит. Меняя очертания, словно закатное облачко, она перемещается по мраморной лестнице вестибюля на второй этаж. А там за столиком с двумя порциями мороженого ее уже ждут — и представляете кто? — Имант Скалдерис, донжуан проклятый!

Униженный и оскорбленный, я расплываюсь с барменом за два коктейля «Маяк» и направляюсь к дверям. Нет! Еще один на посошок!

Длинной соломинкой протыкаю оранжевое солнце (так ведь нельзя! — возмущается официант), высасываю сливовую кровь и отправляюсь в ВТО. Так называется шестиэтажный дом на углу улицы Горького и Тверского бульвара, строго напротив памятника Пушкину. Так закончился мой роман с Людмилой Осиповной.

Через час начнется обсуждение гастрольных спектаклей Аполло Новуса. Погуляю пока по Тверскому бульвару, проветрюсь . . . Тринадцать ноль ноль. Я пришел точно в назначенное время, но в зале почти никого. Джульетту и Иманта Скалдериса лифт поднимает только в половине второго.

— Вы чего это так поздно? — удивился Каспар Коцинь. — Договоривались ведь прийти за полчаса до начала. Аркадий Иосифович сердит, хотел дать последние указания.

Джульетта согласилась: да, она действительно опоздала. Они договорились с Имантом встретиться в ГУМе, а Имантик перепутал и ждал ее в ЦУМе.

— Ну, как в ЦУМе? — спросил Каспар у Иманта. — Сколько истратил? Имантик молчал . . .

— У него, у бедняжки, и тратить больше нечего, — сказала Джульетта, сияя глазами. — Сегодня утром на последние деньги купил мне подарок — коробку конфет, ну разве он не душка?

— Ох! — Каспар стукнул себя по лбу. — У тебя же сегодня день рождения! Желаю счастья и радости! После собрания ставлю коктейль, называется «Маяк», отличную забегаловку нашел на Горького, наверху дамы могут заказать мороженое.

Имантик молчал . . .

Можно открывать заседание. За кафедрой председатель ВТО, народный артист СССР, седой и благообразный. За столом президиума известные московские режиссеры, актеры и драматурги. В зале ученые и критики центральных газет — Гурвич, Бояджиев, Юзовский. Из Риги прилетел сам Карлис Сармон и поселился у своего друга Семена Гурвича. Обсуждение началось.

Ход его тщательно запротоколирован Гвидо Галейсом, а в архиве театра можно отыскать и стенограммы, что освобождает нас от необходимости подробно останавливаться на речи каждого выступавшего (все это можно найти в 5-м томе собрания сочинений Даугавиетиса). Вкратце перескажем только самое главное, самое существенное.

а) Общая оценка репертуара:

— . . . «Огнем и ночью» вы нас потрясли, «Тирельскими болотами» вдохновили, «Анной Карениной» удивили, «Любовью Яровой» порадовали, «Ромео и Джульеттой» умиротворили. — Так завершил свое выступление экзальтированный мужчина с черной бородой.

— Простите, кто это такой? — шепотом спросила у соседа Джульетта Сармон.

— Космополит! — буркнул сидящий рядом.

Поди разберись. А что значат слова: «"Ромео и Джульеттой" умиротворили»?

Дону Аристиду это выражение не понравилось.

Вот Охлопков сказал — хорошо! — но что он имел в виду, почему ухмылялся в бороду, простите, у Охлопкова бороды никогда не было. Я имею в виду того, кто только что предположил, что . . . что . . . о чем это я? Да, этот с бородой . . . был еще один с бородой и знакомой фамилией. Кажется, Юзовский.

б) — ... каждый художник имеет право на эксперимент, — сказал он, — так и только так режиссер может добиться положительных результатов. И Даугавиетис осмелился! Показал нам Горького в своей интерпретации (предыдущий оратор забыл отметить «Егора Булычева») и убедил.

в) — «Существуя, изменяйся!» — продекламировал Бояджиев. — Эти слова Спидолы должны стать девизом Аполло Новуса. Ибо социалистический реализм необходимо развивать и дальше. Нет ничего опаснее рабского копирования застывших систем, фетишизации Станиславского.

— Ой... ей... ей... — ужасалась в первом ряду Лина Таубе.

Она села рядом с Каспаром и беспрестанно дергалась и ворчала, шепотом полемизируя с оратором. — Неужто этот товарищ не понимает, что постановка «Тирельских болот» просто-напросто противоречит единственно допущенному и утвержденному методу...

г) — ... только опираясь на высококачественный драматургический материал, на такой материал, какой предложил нам писатель Карлис Сармон, мы сумеем и дальше развивать советский театр, несмотря на конъюнктурный спрос, несмотря на сопротивление догматиков, — сказал Гурвич. — Предстоит борьба. Но Мейерхольд и Маяковский тоже боролись, и борьба была длительной, пока им не удалось наконец поставить «Мистерию-буфф». Кто посмеет сегодня усомниться в том, что это советская классика, краеугольный камень революционной литературы?

— Мейерхольд! — опять застонала Таубе. — Как он осмелился упомянуть его имя!

— А в чем дело? — удивился Каспар и протянул Лине тонкую книжечку в серой обложке (Гвидо попросил положить пока в портфель «О театре» Мейерхольда). — Взгляните, почтеннейшая! Книга о Мейерхольде. Гвидо только что приобрел.

— Где, интересно? — предчувствуя недоброе, спросила товарищ Таубе.

— В Столешниковом переулке.

— Я так и знала... я так и знала... — запричитала Лина, ломая руки, — и все только потому, что у меня не было ни минуты времени...

— Жизнь коротка... — озабоченно размышляла перед зеркалом темноволосая Джульетта. — Коллеги решили устроить мне юбилей, но я не могу этого допустить, ни в коем случае. Просто стыд. Юбилей, когда я чувствую себя такой молодой!.. Через пару лет, когда будет персональная выставка, пожалуйста! От своих пятидесяти никуда не уйдешь. Но сейчас буду сопротивляться изо всех сил. Главное — хорошо выглядеть.

По утрам Джульетта делала зарядку, потом загорала под оставшейся от дяди Фрица кварцевой лампой: надеялась продлить лето до Октябрьских праздников. На завтрак ни кусочка масла, ни ложки сметаны, ни крупинки сахара. Ломтик черного хлеба, творог, тертая редька, стакан кефира.

— За полгода восемь с половиной килограммов скинула, вполне еще ничего. — Джульетта покрутилась перед зеркалом.

Когда актеры разъехались в отпуск, Джульетта всем сказала, что едет к родным в Вентспилс. Где она провела месяц, один бог знает, но вернулась она золотистой блондинкой и благоухала ромашкой.

Имант Скалдерис был неприятно удивлен, но сделанного не воротишь, сам виноват. В Москве, в гостинице «Европа», не сумел вовремя промол-

чать... Лежа в постели Джульетты и играя ее волосами, не мог удержаться и не воскликнуть: «Ах, лисица ты моя серебристая! Как я тебя люблю!»

— Почему серебристая лисица? — встрепелась Джульетта.

— Потому что в волосах твоих серебряные нити. Скоро ты будешь, как белая яблоня, — изрек Имант. Двадцатитрехлетнего любовника эта аномальность так восхитила, что по горячим следам он осторожно наекнул Джульетте:

— А что, если мы поженимся?

И тут Джульетта принялась лихорадочно действовать. Ежедневно ходила к косметичке, делала компрессы для лица, так как заметила, что в уголках губ появились две старящие ее морщинки. Свои отношения с Имантом скрывать перестала. Ибо абсолютно уверилась в том, что юноша влюблен в нее по уши. А юноша и не сопротивлялся. Независимость, с одной стороны, и материальная обеспеченность — с другой...

С месяц назад Джульетта дала Иманту конкретный ответ.

— Правильно, мы должны зарегистрироваться. Сколько мы будем прятаться? Как руководителю профсоюза, мне в некоторой степени даже неудобно. — И тут же, словно гром с ясного неба: — Хочу от тебя ребенка...

Ребенка!

Имант не знал, как себя вести, что ответить. Впервые в жизни женщина потребовала от него ребенка. До сих пор они поступали наоборот. И вот пожалуйста: хочу от тебя ребенка! В замешательстве он чуть было не согласился. Но разум все же взял верх, и он задумался. Может ли вообще у пятидесятилетней разведенки быть ребенок?

На всякий случай сбегал к Белле посоветоваться. Белла засмеялась и сказала: «Никогда в жизни! Делай, Имик, все, чтобы сохранить свободу и независимость. У меня ты всегда получишь кредит. А если тебе так уж понадобился ребенок...»

Просвещенный таким образом Имант делал все, чтобы сохранить самое что ни на есть дорогое для мужчины: свободу и независимость. Прежде всего отверг предложение Джульетты перебраться к ней в коммуналку:

— Что?! Изо дня в день якшаться с этими гнидами — Коцинем, Гвидо и Уксусом? Мне и в театре их умные речи обрыдли! Нет и нет!

Когда Джульетта напросилась жить на улице Акас, Имант воскликнул:

— Ты с ума сошла! Вдвоем в этой комнатухе? Где же ты будешь рисовать? Не бросай свою грандиозную квартиру. (Он, между прочим, эту грандиозную квартиру не видел и идти смотреть ее не собирался.)

Пустяки! Она согласна временно бросить рисовать; так или иначе, весь день она в театральных мастерских. Но Имант не сдавался.

— Ты только что получила госзаказ на двадцать тысяч, неужто упустишь такую возможность? А персональная выставка, а портреты, которые затребовал салон для продажи, подумай, что ты собираешься делать!

В конце концов Джульетта дала себя уговорить: жила одна в коммуналке и в поте лица работала. С Имантом они виделись в театральном буфете накануне спектаклей и вечерами в комнатухе на улице Акас, и это уже было счастьем, и большего счастья она, пожалуй, и не заслуживала... Однако свободного времени у Иманта оставалось все меньше. Он возобновил занятия спортом. Как-то утром прибежал капитан команды «Динамо» Шулманис и в отчаянье попросил Скалдериса выручить их — начался хоккейный сезон, а положение чемпиона СССР — команды «Динамо» — достаточно плачевное, можно даже сказать, угрожающее,

так как первый матч рижане сыграли без своего лучшего нападающего — Иманта Скалдериса. Шулманис пробрался в актерские гримбурные Аполло Новуса (шла генеральная репетиция трагедии Шекспира) и в последнюю минуту поймал главного героя. Сунув Гамлету под нос лист бумаги — таблицу с результатами матчей — Шулманис витийствовал перед кучкой актеров (среди них оказалась и Джульетта), объясняя сложившуюся ситуацию.

Рижское «Динамо» — 6 очков (19:13)

Московский «Спартак» — 6 очков (15:7)

Военно-воздушные силы — 6 очков (18:11)

Кто будет нынешним чемпионом? Решающий матч между «Спартаком» и рижским «Динамо» пятого декабря. Товарищи! Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы рижане завоевали звание чемпиона и кубок. Театр есть театр, а спорт есть спорт! Поэтому от имени всей команды приглашаю Иманта Скалдериса . . .

Джульетта пыталась возразить, но Имант не стал ее слушать.

— Вот тебе моя десница! — воскликнул Гамлет, протягивая Шулманису руку. — Как только закончится репетиция, я мчусь за коньками.

— Я надеюсь, вы учтете все-таки, что мой муж прежде всего актер и в воскресенье у него ответственная премьера, — робко заметила Джульетта.

— Учтем, учтем, — галантно поклонившись, ответил Шулманис. — У нас ваш муж тоже будет играть главную роль, уважаемая. Ответственный матч намечен на воскресенье, рано утром, и команда будет рада впредь видеть и вас на своих тренировках, покорнейше прошу . . .

Вернувшись в большой спорт, Имант еще больше укрепил свою свободу и независимость. Он буквально летал с клюшкой и совершал головокружительные прыжки на блестящем ледяном паркете площадки СКА (стадиона тогда еще не было). Для защиты противника Скалдерис представлял опасность своими неожиданными прорывами и точными бросками по воротам. Джульетта, присутствуя на тренировках, набросала эскиз будущего портрета Иманта. Мчащегося, твердой рукой отбивающего летящую шайбу, с развевающимися волосами, побеждающего и очаровывающего . . .

О, сколько напридумывала Джульетта во время тренировок таких ярких, таких живописных и режущих латышское ухо грамматических образований, ибо ей наскучило смотреть на десяток мужчин, трижды по двадцать минут гоняющих одну-единственную шайбу. Посмотрев три или четыре игры, Джульетта решила не тратить время понапрасну, а сидеть лучше в мастерской и прилежно писать портрет Иманта. «Так даже в разлуке мы вместе, дорогой, — мысленно говорила Джульетта. — Кончится этот проклятый чемпионат, и ты снова будешь со мной, шуренок мой . . .» Тут Джульетта вспомнила, что Имант давно уже просил сходить в Управление и поинтересоваться, почему ему не присуждают высшую категорию. Ни справедливости, ни логики: Скалдерис играет главные роли, а зарплату получает по самой низкой — третьей категории. Дирекция направила представление, но в управлении не торопятся. Состоялось два заседания аттестационной комиссии, но вопрос о Скалдерисе не обсуждался. Почему? Потому что Роби-Лакейс, злейший враг Иманта и Даугавиетиса, стал большим чиновником. Просто оторопь берет: Роберт Вилсон назначен начальником Управления культуры! Художественный фильм с его участием снят, принят, утвержден. И сейчас его показывают во всех кинотеатрах страны. Говорят, собираются даже выдвинуть на Большую премию. Естественно, выдвинется и Роберт Вилсон. Его портрет

во всю высоту брандмауэра уже висит на улице Блауманиса и возле Матвеевского рынка на улице Миера. Этаким симпатичный усталый человек с трубкой. Улыбающийся и добрый, как отец. Накануне съемок режиссер попросил Роберта отрастить усы. Тот и отрастил, и довольно красивые, а после съемок сбривать не стал. Рига, встречая, устроила ему овацию. Говорили: Вилсон так похож на прототипа своего героя, что буквально волосы шевелятся. Высокие чиновники тоже заметили это поразительное сходство и поспешили присвоить Роберту титул народного артиста. Завистники шептались: ну Вилсон, ну взлетел, выше некуда, так и сестя нашел куда, вернее, для него нашли и посадили. Старого начальника управления, с виду ничем не примечательного, выпроводили на пенсию. А в его высокое кресло посадили Роберта Вилсона. Все, кто посмотрел знаменитый фильм, отождествляли теперь вновь назначенного начальника с главным героем и испытывали к нему невыразимое почтение. А уж когда Роберт вставал из-за стола и, попыхая трубкой, принимался ходить по кабинету и думать (точно такой кадр зрители видели в фильме), тут у всех прямо ноги подкашивались . . . Однако не загордился, старых друзей не забывает. Секретарем сразу же взял Фредиса Вилкинса. Фредис недавно переругался с Даугавиетисом и с радостью ушел из театра. В конце концов зарплата маленькая, а пенсия уже не за горами. И теперь он стал доверенным лицом в управлении. В дни приема посетителей, когда выстраивается длинная очередь, Фредис единолично решает, кого впустить, кому отказать. Если свой человек — милости просим! Товарищ Вилсон вас уже ждет! Если кто-то из клики Даугавиетиса: к сожалению, ваше дело еще не решено! Приходите через неделю, через две.

Роберт сидит в роскошном кабинете за резным письменным столом. Как только появляется министр (без предупреждения), тут же встает и на полусогнутых семенит навстречу. А когда идет мелкая сошка и всякие там референты, делается неприступным, неразговорчивым. Случается, кричит и стучит кулаком по столу — вколачивает в подчиненных почтение. Зато от одной мысли о неприятностях со стороны высших сфер холодеет.

Неприятностей он уже хлебнул. В оперный театр была направлена комиссия — проверить работу коллектива за последние три года. Поступили жалобы, что художественное руководство театра не обновляет репертуар, а держится за старые, изжившие себя постановки. Во время проверки выяснилось, что в прошлом году была поставлена опера «Риголетто», а вместо «Лебединого озера» — «Красный мак», хорошо еще, что так . . . Но где, товарищи, советская опера? Что делают латышские советские композиторы?

И пошло-поехало, принялись глубоко копать, а потом устроили головоломку. Больше всех досталось начальнику управления и директору оперы. Несмотря на то, что Вилсон только-только приступил к своим обязанностям, он получил предупреждение и задание:

1) способствовать тому, чтобы в ближайшие годы на сцене оперного театра появилась новая советская опера.

Вилсон отправил копию оргсекретарю Союза композиторов Петерису Видиньшу:

2) способствовать тому, чтобы в течение года на сцене оперного театра была поставлена новая советская опера.

Видиньш по почте отправил тринадцать заказных писем тринадцати самым знаменитым латышским композиторам:

3) способствовать тому, чтобы в течение полугода была написана новая советская опера!

Боевое задание

Товарищи композиторы! Без промедления сядем за фортепиано и письменные столы и создадим достойные нашей эпохи художественные произведения. В противном случае . . .

Отправив письма, Видиньш сходил в управление и записался на прием к Вилсону.

— По какой линии? — недоверчиво спросил секретарь Вилсона Фредис.

— По той самой, по какой твой начальник получил нахлобучку, — ответил Видиньш и тут же был впущен.

— Роберт Германович, оперу так быстро написать невозможно, — сказал оргсекретарь. — Прежде всего пишется либретто. Потом это либретто надо переложить на музыку и, наконец, кому-то инструментировать, ибо наши классики (ни Воплиньш, ни Кетерлиня) сами не любят и, кажется, не умеют записывать оркестровые партитуры. В течение полугода — это нереально . . . Но в этой связи могу предложить вам человека, у которого уже есть либретто и который не только пишет музыку, но и инструментировает ее. У него опера почти готова.

— Что?! — чуть не подпрыгнул в своем начальственном кресле Вилсон. — Давайте сюда, я его озолочу!

— Фамилия этого человека Коцинь. Капельмейстер Каспар Коцинь.

— Знаю . . . Ничего . . . А тематика? Советская?

— Стопроцентно. Маяковский, советский классик. Классовая борьба, строительство, рационализация. Велосипедкин и Фоскин.

— Фоскин? Видиньш, мы спасены! Немедленно заключай договор с товарищем Коцинем.

— Уже заключен, товарищ Вилсон, — с достоинством ответил оргсекретарь. — Своевременно подумали, согласовали, оценили и договор заключили. Все распланировано по указанию начальства. Если бы вы раньше с нами согласовали, не было бы . . .

— Если бы да кабы . . . — Роберт скривился. — Сию же минуту звоню Ивану Ивановичу. Как называется опера?

— «Фантастический поезд будущего».

— Что? А тема-то какая! Железнодорожный транспорт!

— Да! Кроме того, борьба за мир, деревообработка, электрификация и . . .

— И все это Маяковский включил в одну-единственную оперу?

— У Маяковского, уважаемый, еще не опера, у него только пьеса. А либретто по этой пьесе сделал молодой писатель Гвидо Галейс.

— Что, Галейс? — Роберт вновь скривился. — Из той же клики? Личный секретарь Даугавиетиса . . . Что он там мог состряпать?

— Что может быть надежней Маяковского, товарищ начальник? Все согласовано и проверено . . . Строчки сравнили, подсчитали и зарегистрировали.

— Для страховки пришлите мне все-таки либретто. Хочу прочесть.

— Маяковский — советский классик. Советую осторожнее.

— Я все-таки должен видеть, не приплел ли там чего этот Галейс . . .

Видиньш позвонил Каспару, чтобы тот срочно отнес в управление либретто «Фантастического поезда будущего». Есть шанс, и немалый, что его оперу включат в премьерный план театра. Сколько времени понадобится, чтобы ее закончить?

— Ну, полгода еще понадобится, — ответил Каспар. — Одна инструментовка продлится месяца два.

— Полгода! — застонал оргсекретарь. — Армянский «три звездочки» теперь за три месяца готов, разве ж от этого он стал хуже? Композиторы, композиторы! Наконец и вам пора думать об ускорении, об улучшении технологии.

— Россини писал оперу за одну неделю, — подтвердил Коцинь.

— Ну вот! Россини . . . а вы в эпоху научно-технической революции требуете год.

— Моцарт увертюру к «Дон Жуану» написал за одну ночь, — продолжал капельмейстер.

— Хватит, хватит . . . И не говорите об этом Вилсону . . . Позвонит еще Ван Ваньчу, влепят мне строгача . . . Одним словом, пишите как можно скорее, но лишнего не болтайте . . . Мы еще проживем!

Прошло несколько дней. Как только Роберт Вилсон, его секретарь Фредис и редактор репертуарной коллегии прочитали либретто, поднялся невообразимый скандал. Где тема строительства, где классовая борьба, где деревообработка? Одни издевки в адрес начальства! Вилсон тут же вспомнил, что в театре его звали Победоносиковым. Значит — всю эту пакость придумали заранее и идет она от Даугавпиециса! Решили со своим секретарем сделать из меня дурака! А Оптимистенко — это, конечно, Фредис. В управлении стоял хохот: вылитый Фредис! Осталось только найти доказательство — и Галейса за решетку . . .

Вызвали Петериса Видиньша, допросили. Старая лиса все ссылался на Маяковского. Хорошо, посмотрим!

Вилкинс, Видиньш и их подчиненные рассредоточились по библиотекам в поисках Собрания сочинений Маяковского, поскольку дома никто таких книг не держал. Однако пьесу «Фантастический поезд будущего» при всем желании найти не могли. Видиньш вспомнил, что вначале опера называлась «Баня». Но по его, оргсекретаря, предложению (чтобы не так резало слух) композитор либретто перекрестил . . . Еще лучше!

Роберт Вилсон на свой страх и риск приказал принести из всех библиотек по одному экземпляру «Бани» (пьесу на латышский язык еще не перевели) и все тщательно проверить . . .

Чертова перечница! Галейс ничего не прибавил и не убавил! Слово в слово. Значит, виноват Маяковский!?

— И как это таким писакам бумагу разрешают марать? — вскричал Победоносиков. — Почему он еще не за решеткой?

— Уже за решеткой, товарищ начальник! — лоя ртом воздух, ответил только что вбежавший оргсекретарь. — Сегодня арестован Саруханов. За жульничество и присвоение денег. Что теперь будет?!

— Аннулировать договор! — бушевал Вилсон. — Отдать под суд! За решетку! Хочешь не хочешь, о твоей афере придется доложить министру и начальнику реперткома, — последнюю фразу Роберт произнес уже спокойней, — ты опозорил нас всех.

Вилсон проинформировал старого Шпонберга, тот проинформировал кое-кого повыше, однако начальник реперткома, когда вернулся, совершенно спокойно заявил, что, во-первых, вся эта галиматья их не касается, и, во-вторых, там, наверху, знать ничего не знают и знать не хотят. Велено заткнуться! Неужто же Роберт и впрямь не бывал в Москве, где в самом центре города, под землей, есть станция метро имени Маяковского, а над нею, наверху — площадь самого Маяковского, а посреди площади памятник самому Маяковскому? Ну-у!

Шпонберг тайком прочитал либретто. Заключение таково:

«Баня» Маяковского — вещь реальная, ничего изменить невозможно. А что касается поезда, то его следует задержать. Как это осуществить, дело самого оргсекретаря Видиньша. При желании всегда отыщутся

художественные и музыкальные огрехи, всегда можно к композитору придраться . . . О Маяковском же впредь ни одного грубого слова! Маяковский остается Маяковским.

Тут-то Вилсон вызвал к себе оргсекретаря и сказал:

— Так вот, слушай — Маяковский остается Маяковским . . . Что же касается Галейса и Коциня, тут совсем другое дело. Пусть они покажут вам эту оперу на каком-нибудь ближайшем собрании. Ну а потом — действуйте! Воплиньша и Кетерлиню особо агитировать не придется, они этого капельмейстера в порошок сотрут. А ты, подводя итоги, оформи все как «творческую неудачу» композитора и либреттиста, а гонорар спиши в расход. У нас сейчас одна-единственная задача: остановить поезд!

Петерис Видиных почесал в затылке.

— Еще вчера я звонил Коциню, торопил его. Как же сейчас одним махом я остановлю этот поезд? А Галейс задумал сам поставить спектакль. Собирались прийти к тебе поговорить.

— Я эту рожу поганую вон вышвырну, если он зайется! — затрясся от злости Вилсон и позвонил секретарю.

— Эй, Фредис! Если Галейс появится — не принимать! Ты ему скажи, что еще ничего не согласовано. И спроси — что такое главначпупс?

И Гвидо и Каспар, ни сном ни духом не ведая о скандале, который бушевал в управлении, увлеченно работали над оперой. Три месяца им отпущено, чтобы переложить оперу для фортепиано. Вот-вот они истекнут, а у них еще две картины, и самые главные. Каспар за роялем, Гвидо у пюльта. Работают себя не помня.

Похоже, их вдохновляет Фосфорическая женщина, которая проходит по коридору то в облике Джульетты, то в облике Ялны и в самый неподходящий момент зовет ужинать . . . Ибо как раз в этот момент они захвачены видом грандиозной панорамы коммунистического будущего. — Позади — идейный балласт первого действия, всякие победоносиковы, оптимистенки, бельведонские . . . Сосредоточиться мешали и непрерывные звонки оргсекретаря: — Как далеко вы, товарищи? Как идут дела? — Товарищ Вилсон торопит: к началу сезона опера должна быть готова. Начальство нарадоваться не может их выбору. Маяковский — великий строитель коммунизма.

Звонил по два раза на дню, работать не давал и вдруг — исчез. Уже больше недели молчит . . . Оставил наконец в покое. Поняли все-таки, что творческих работников нельзя торопить. Тексты арий Гвидо убегает писать в свою комнату. Кабинет Сармона теперь в его распоряжении. Таково желание Джульетты. Никаких пятниц больше не будет. У Джульетты теперь новая любовь и новое увлечение. Туманно намекнула, что грядут большие перемены в ее семейной жизни . . . Может быть, она даже переберется жить в другое место . . . Уксус плевался и размахивал кулаками, когда услышал, что Джульетта собирается замуж за такого . . . (конец фразы он предпочел проглотить). Каспар махнул рукой, Гвидо не переставал удивляться, но времени у него на это было в обрез, ибо Джульетта предложила товарищу Галейсу предьявить претензии на часть коммунальной квартиры и прописаться, а то чем черт не шутит . . . Оставить комнату Карлиса Ялне она категорически отказалась, хотя девушке не мешало бы развернуться, она была уже третьекурсницей и работала санитаркой на «Скорой помощи» в Институте травматологии. Предложи Джульетта кабинет Уксусу, он поселил бы туда больную мать, но тогда обиделась бы Бетия (она все еще ютилась в комнатухе возле кухни). Поэтому хозяйка решила дело в пользу своего бывшего учителя французского языка.

— У тебя, Гвидо, теперь двойная нагрузка, — сказала она: — занять кабинет Карлиса и привезти свои книжные полки.

Так Гвидо Галейс стал девятым жителем коммунальной квартиры, набитой теперь под завязку.

Гвидо в этом году действительно взвалил на себя двойную нагрузку: поступил на режиссерский факультет Театрального института и подписал договор на либретто. Оперный театр шел на смелый эксперимент: ставить «Фантастический поезд будущего» приглашен Аристид Даугавиетис, его ассистентом и режиссером оперы будет Гвидо Галейс, дирекция ждет только приказа об утверждении. Каково?

— Приглашая Галейса, мы ничем не рискуем, — сказал начальник реперткома Шпонберг, — за спектакль будет отвечать Даугавиетис.

Разговор этот происходил месяца за два до скандала с «Баней». Роберт Вилсон готовился возражать, но, как назло, получил две грозные телеграммы из Москвы:

1) Почему оперный театр до сих пор не поставил ни одной латышской оперы на советскую тематику?

2) Почему управление не реагирует на принятое ранее постановление № 237?

Над бедным Робертом снова собралась гроза, поэтому в то утро он был согласен на все. — Пусть ставит Даугавиетис, эта старая сволочь, лишь бы быстрее появилась премьера. Согласен! Пусть ассистирует ему этот маньяк. Опера нужна любой ценой. Согласен! — И только в одном вопросе Вилсон проявил упорство и согласия своего не дал.

По замыслу и плану Даугавиетиса роль Понта Кича должен был исполнять не певец, а актер, так как петь ему было просто нечего — одни реплики. Даугавиетис просил утвердить на эту роль Бернхарда Юрастетерса, великолепного исполнителя характерных ролей. У Юрастетерса, актера высокого роста, с лицом аристократа, с огромным орлиным носом и высокомерно поднятыми бровями, на счету была целая галерея ярких отрицательных типов. В советских пьесах он играл генералов вермахта, эсэсовцев, иностранных агентов, в классике — черных рыцарей, кангаров-предателей, мифистифилей, в фильмах — саботажников, капиталистов и поджигателей. Преступное лицо Юрастетерса прошло апробацию на всех киностудиях Советского Союза, патриоты узнавали его на улице и открыто демонстрировали ему свое презрение. Юрастетерс был выдающимся актером, его защищала даже Лина Таубе:

— Бернхард платит за профсоюз, не пьет, не курит, посещает лекции и семинары по марксизму. И виновата скорее я, что обучала его методу Станиславского!

Юрастетерсу давно полагалось почетное звание, но все представления, все просьбы дирекции были что горох об стенку. Начальники, директора, высокие чиновники и их жены, из тех, кто смотрел постановки Аполло Новуса, отождествляли Юрастетерса с его «героями», как и Вилсона, с той лишь разницей, что Вилсон был символом наших, а Юрастетерс — подлецов и вредителей... Как-то после спектакля некая молодая труженица сказала, что, прежде чем уйти домой, она с удовольствием встретила бы Юрастетерса у актерского входа и дала бы ему кирпичом по роже: не нравится он ей очень, и ей зааплодировали...

— Что?! Юрастетерсу — заслуженного? — пришли в ужас кадровики комитета. — Ни-ког-да!

Вот потому-то Роберт, не размышляя, жирными буквами наложил на заявлении Даугавиетиса резолюцию:

«Не согласен!»

От идеи своеобразной трактовки роли Понта Кича дону Аристиду пришлось отказаться. А что же с ассистентом режиссера?

Ради друга Каспар позвонил своему покровителю и меценату — оргсекретарю Видишь, но тот разговоривал на удивление сдержанно и немногословно. На вопрос, назначен ли товарищ Галейс режиссером-ассистентом «Фантастического поезда будущего», Видишь посоветовал самому Галейсу сходить и утрясти этот вопрос с начальником управления, это, мол, не в его компетенции. Ну и чудеса! Переложение для фортепиано готово, можно начинать репетировать, а Видишь, оказывается, ни при чем. Случайно встретив оргсекретаря на улице, Каспар принялся увлеченно рассказывать о том, какой им с Галейсом удалось найти интересный финал, о том, что они уже приступают к инструментровке, на что Видишь, поморщившись, ответил:

— Фортепианное переложение оперы предстоит серьезно обсудить и оценить на ближайшем творческом заседании и тогда только приступить к инструментровке.

— Как? — оторопев, спросил Каспар. — Вы же сами нас подгоняли!

— В искусстве никогда нельзя гнать, — отвечал Видишь. — Поспешись — людей насмешишь, товарищ Коцинь. Прежде всего надо бы завершить «Партизанского командира Варкалуса». Настоящую советскую оперу.

Каспар был в полной растерянности.

— Завершить? Но я же давным-давно прекратил над ней работу, товарищ Видишь! Вы же сами меня торопили!

— Торопил, торопил! — отрезал оргсекретарь. — Вы всегда следуете только чужим советам? Пора самому думать и принимать самостоятельные решения.

Каспар, захватив с собой Гвидо, в полном недоумении отправился в управление — «утрясать дело». Что утрясать, зачем утрясать — ни один из них не понимал, но что-то предпринимать надо было срочно. Официально Гвидо все еще не был утвержден ассистентом режиссера. Попросили аудиенции у Вилсона. Но Фредис Вилкинс даже на порог молодых людей не пустил.

— Шеф занят. Сегодня никого не принимает. По какому делу? — строго спросил секретарь. — Жалоба? Просьба? Подайте в письменном виде. Через неделю получите ответ.

И вот через два дня на третий они приходят к Фредису за ответом. Вилкинс сидит за письменным столом, заваленным бумагами, попивает чай и закусывает его бутербродами.

— Вопрос о вашем участии еще не согласован. Придите через неделю.

Через неделю:

— У дирекции Оперы руки не доходят...

Зато у Каспара и Гвидо чаша терпения переполнилась. На следующее утро, в довольно странном виде (у одного на голове платок, у другого поношенная кепка) оба появляются снова. Получив очередной отказ, Гвидо Галейс говорит:

— Вам, товарищ Вилкинс, скучно просто так чай пить... никаких развлечений. В честь вашего благородия мы сыграем сейчас сценку из «Фантастического поезда будущего». Под названием — «Белка в колесе»

Гвидо (понурившись, садится на скамью для посетителей). Товарищ секретарь, начальник у себя?

Каспар (с воинственным видом возвышается над ним). В чем дело, гражданин?

Гвидо (старушечьим голосом). Я вас прошу, товарищ секретарь, согласовать и выдать справку о том, что . . .

Каспар. Сначала напишите отношение.

Гвидо. Отношения ждем только в конце августа, корова старая.

Каспар. Потом согласуем и примем меры . . .

Гвидо. Не отдаст старик. В аккурат безмером меня и прибил.

Каспар. Тьфу! Что ты, бабка, лезешь ко мне со всякими пустяками! Тут Главное управление оперы и театров, это тебе не коровник!

Гвидо. Я, товарищ секретарь, не по коровьему делу . . . Хотела попросить согласовать . . . Несогласно мы живем: пьет старик, материт, безмером дерется.

Каспар. Тьфу ты! Я ж тебе сказал, бабка: не суйся в центр культуры и искусства, обращайся в милицию. Начальник занят годовым оперным планом. (Каспар отворачивается, Гвидо меняет место. Каспар поворачивается.) А вам что, гражданин в зеленых брюках?

Гвидо (вскакивая и делая вид, что торопится). Мне срочно к начальнику! Экстренно, срочно, немедленно. (Пытается пройти в кабинет.)

Каспар (забегает вперед, хватается за дверную ручку). Стойте! Я вас, кажись, узнаю. Это вы или ваш брат Бенедикт, который умер в прошлом годе?

Гвидо. Это я сам и есть.

Каспар. Да нет. В прошлый раз на вас не было бороды.

— Когда я стал сюда ходить, чтобы попасть к главначпуспу, у меня и усов не было . . . Пустите вы меня, наконец, или нет? Я жаловаться буду. В Латхимбыт! Ехимбыт!

— Попрошу не выражаться матом. Это солидные фирмы. Что касается вашего дела, то оно увязано и согласовано.

— Что?!

— На вашем заявлении стоит резолюция начальства.

— Та-рам!

— Полное решение.

— Та-рам-пам!

— Согласовано с главначпуспом и утверждено секретарем.

— Та-рам-пам-пам!

Сидящий за столом Фредис Вилкинс не может сдерживать радость. Отодвинув стакан с чаем и проглотив последний кусок, он выхватывает из папки заявление Даугавиетиса и, размахивая им над головой, торжественно кричит:

— От-ка-зять!



СТИХОТВОРЕНИЯ

Перевел Давид САМОЙЛОВ

МОЙ ДЕД

Близ Даугавы, над старицей, где доски
Желтеют и медовый дух витает,
Где, словно подо мхом, в слоях опилок
До середины лета лед не тает,

Где не пылит откос, поросший редкой травкой,
Как старческой щетинкой жалкой,
Куда привозят рухлядь и железо
И называют свалкой, —

Живет мой дед.

С рассветом встанет.
Через окошко поглядит на реку,
Вдохнет всей грудью влажный воздух
И пососет, как соску, носогрейку.

Он долго провожает взглядом барки
И радуется, словно детской байке,
Тихонько улыбается в окошко,
Когда взлетают сахарные чайки.

Но если портовой буксир неловко
Ведет плоты между быками,
Он кипятится и ремень английский
С себя срывает гневными руками.

Потом идет в слепую кладовушку
Для кошки мышь достать из мышеловки,
А после кофий пьет из старой кружки
С картинкой — мальчик при коровке.

Когда же солнце встанет прямо над трубой
И пильщикам обед гудок объявит длинный,
Дед отдохнуть пойдет перед едой —
Гороховой похлебкой со свиной.

ЖЕНЩИНЫ

Без движенья, как письмо без марки,
На вокзале я люблю торчать.
Женщины, огромные как барки,
Весело несут в корзинах кладь.

После этих хрупких ноготочков
У девиц, которых выпил джаз,
Радуетесь женщинам в платочках,
Настоящим бабам без прикрас.

Едут в запропащую глубинку,
В позабытый чертом уголок,
Чтоб со свежим маслом в Ригу, к рынку,
Поезд их назавтра приволок.

Их слоновьи ноги так ступают,
Что, не выдержав могучих пят,
Камни в изумленье замирают
И ступени жалобно скрипят.

Жаль, что нет великого Верхарна,
Жаль, до наших дней недотянул,
А не то бы снова благодарно
Он походки той услышал гул.

Как колышутся их бедра, груди
Необъятные, пьяня, как ром,
И невольно отступают люди,
Пропуская их в дверной проем.

Голосов их звук услышав трубный,
Брякнулся б поэт-романтик Тик.
Даже старец, страсти недоступный,
Встретив их, любовь бы вновь постиг.

После этих хрупких ноготочков
У девиц, которых выпил джаз,
Радуетесь женщинам в платочках,
Настоящим бабам без прикрас.

ЕЛГАВА

Обретают вдруг подобье
Лист, киоск, бульжник твердый,
Конский шаг и козьи морды.
Отчего бы?

Если ум коснется в злобе,
То не лучше ли, пожалуй,
В кассе взять билетик алый
И пуститься в путь недлинный
В тихий, старый городишко,
Где вдоль улицы старинной
Водосточные канавы
Сносят в море солнце травы,
А на крыше месяц в грусти —
Он высиживает грузди.

Смотрит ряд построек сырых,
В их щелях, прорехах, дырах
Травка спит, червяк таится
И песочек золотится.

Там я радостно блуждаю,
Сам себе стихи читаю.
И каштаны и строенья
Нежно по лицу ласкаю.
Чую запахи пространства
И прощаю в упоенье
Мальчуганов хулиганство.

Городишко невеликий.
Вот пяток его реликвий —
Улочка, гнилой порожек,
Немка, козочка без рожек.
Так тиха его окрестность,
Что блохой неловко трескнуть.

В тайном злачном заведенье
Темной вечности виденье.
Все углы пропахли пивом.
В одиночестве счастливом
Я здесь время провожаю,
Пивом глотку освежая . . .

Что за дивный городишко!
Здесь от бед освободишься.
Тянешь руку к звездам в вечность —
Видишь небо или нечисть.
А к земле протянешь руку —
Зришь ее любовь и муку.

Коль сюда захочешь снова, —
Не таи три дня дурного,
И сюда, не отлагая,
Приведет звезда благая.

МОЙ РАЙ

Уж когда в предместье попадаю,
Где садовый аромат кругом,
Яблони под локоток хватаю
И песчаной почве бью челом.

Из дворов в заросшие канавы
Я могу глядеть хоть три часа,
Как теченье наклоняет травы,
И как сохнет в зелени роса.

Псов дразню — пускай они полают,
Если камень брошу в старый пруд,
Малышам, что без штанов гуляют,
Дам на квас — здесь рядом продают.

Говором упыюсь неторопливым,
Репой до отвала нагрузжусь,
И вдвоем с цветком неприхотливым
На лужайке вечера дождусь.

Если же, гуляя, ненароком
Прямо мне в лицо дохнет коза,
Ей поглажу голову за рогом,
Чмокну в морду, поглажу в глаза.

Тут и вечер пурпурные вина
Выплеснет из бочек в небосклон,
И за мандолиной мандолина
Запоет печально из окон.

И тогда — недолго дожидайся —
Матиолам задышать пора,
И в листве, как золотые яйца,
Фонари засветят до утра.

ГОМЕР НАШИХ ДНЕЙ

В предвечерний час на ярмарке осенней,
Где лишь медленно густеет темнота,
Меж рядов, ларьков, веселых каруселей,
Распродажи домотканого холста

Выпевает одиноко и печально
Свою музыку на флейте инвалид.
Так пленительно и так необычайно
Над базаром эта музыка парит.

Вкруг него замкнул кольцо народ захожий —
Перекупщики, хозяйки, стар и мал,
И хозяин тут со свертком кожи —
На постолы для работников набрал.

Он играет про познавших безнадежность,
Про изгнанников среди чужих земель.
Но звучит еще пронзительная нежность,
Возбуждающая душу, словно хмель.

Он играет о решительных сраженьях
И о тех, кто искалечен с этих пор,
А потом — в ладонях кучка медных денег,
А у зрителей туманом застит взор.

НА ГОРОДСКОЙ ОКРАИНЕ

Кончаются дома, к ним примыкают сосны.
Люблю здесь побродить, когда горит закат.
Детей зовут домой. И рельсы светоносны.
И гонят старики перед собой козля:

Шум жизни льется сквозь распахнутые окна,
Картошка жарится — я сразу чую где,
А там щекочет нос вчерашняя похлебка.
Рабочий человек неприхотлив к еде.

А через полчаса, когда повечеряют
И прямо за столом задремлет старый дед,
Среди черемухи гитары заиграют
Романсы о любви по вкусу прежних лет.

Потом взойдет луна монеткой золотою,
Над черепицей и влюбленными кружа,
И в смеси матиол с нежнейшей резедою
Тумана кисея пахуча и свежа.

Хозяйки наконец выкраивают время,
Чтобы посплетничать и волю дать умам.
Готовы говорить они до одуренья,
Но их ревнивец-сон разводит по домам.

Чудесный этот вид под мерный шепот леса
Лишь изредка вспугнет nocturnal кот раздор,
Да заорет спяна плутающий повеса
И мирно захрапит, свалившись под забор.

ЖЕНЩИНЫ С ОКРАИНЫ

Возвращаясь под утро домой, я встретил женщин,
несущих корзины; они направлялись к Двинскому рынку
от дальних предместий и травных предлесий.

Я видел — в корзинах цветы, с дивным благоуханьем
цветы; я видел в корзинах ягоды, нежные и свежие, как
губы и розы.

Я встретил женщин с корзинами; они направлялись к
Двинскому рынку; с их ног еще не стряхнулась роса; от
их юбок веяло запахом хлева, а пальцы пахли козьим мо-
локом, надоенным чуть свет, перед уходом на Двинский
рынок.

Я встретил женщин; в их волосах еще таилось тепло
подушки; их тела еще не позабыли предутреннюю ласку му-
жа; они были свежи и румяны, как яблоки с веток, целую-
щиеся с солнцем на ветру.

Я встретил женщин с корзинами, они направлялись к
Двинскому рынку, и я долго стоял, слушая их сочные шаги
по затененному асфальту, успевшему отдохнуть от жары
и шарканья прохожих.

СОЛНЕЧНОЕ УТРО

Раным-рано, только солнце —
Это яблочко золотое —
Глянуло в мое окошко,
В комнату, где сны витают,
Я, еще в тумане сладком,
С алыми от сна губами,
Выбрался на божий свет.

Обняло голубизною,
Словно пухом голубиным.
Улицы еще пустыньны.
Тротуары в редких, резких
Каплях тускло серебрились.
Тени жались в подворотнях —
Безграничья двойники.

Не ручья ли там журчанье?
А вот это — шаг мой скорый.
Чудилось, что колокольчик
Где-то замощен в булыжник.
А мое дыханье — белым
Становясь цветком — срывалось
С губ и таяло, как снег.

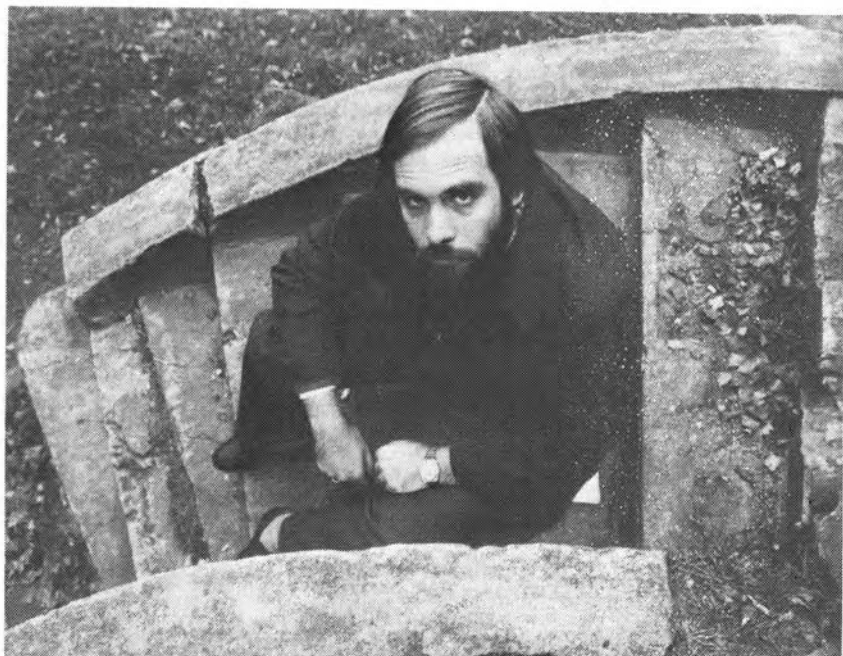
Так куда пойти-податься?
Нет во мне тоски и спешки.
Вечность впереди воркует.
В сердце сладость свободы.
Сзади ржавое болото.
Пройден путь, а вздор под сердцем,
Как засохшая трава.

О просторы! Ваши руки
Ощущаю на коленях.
Я — неуправляемый камень,
Пущенный с горы по склону.
Все с собой увлечь он может,
Нет ему конца и краю.
Да и есть ли тот конец?



На выставке «Угар сталинского романтизма».

Фото Олега Зернова



Николай ГУДАНЕЦ

ПРИ ПОПЫТКЕ ВЗЛЕТЕТЬ

Повесть

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто.

Первое послание к коринфянам, гл. 13, ст. 2

1

В самом низу колонки, под пространной рубрикой «Снимут», прнтулилось несколько объявлений «Сдают». Одно из них сразу бросилось в глаза, словно я заранее знал, каким оно должно быть и где подверстано:

«Istabu pie jūras vasarā virietim pret
palīdzību saimniecībā.»

Adrese: — —

Всего неправдоподобней был адрес — Юрмала, Булдури, на бывшей моей уллице, только по нечетной стороне. Очевидно, это поблизости от бывшего винного, который ныне — соки/бакалея.

Я сунул «Рекламное приложенне» в карман куртки, откинулся на спинку скамьи, прикрыл глаза и представил уллицу своего детства. Тенистая, тихая,

в буйной зелени утопающая; воздух ее напоен дыханием близкого моря. Я снова увижу каштаны в цвету, плиточные тротуары, усыпанные бело-розовым нежным сором, и проживу там до тех пор, пока на клетчатые цементные дорожки не посыплется глухо стучащие зеленые булавы с кривыми шипами; до смуглых лакированных каштанов, выглядывающих в белые трещины оболочек, проживу я на лучшей в мире улице. О, я согласен, согласен помогать летом по хозяйству, хоть по двадцать три часа в сутки, лишь бы двадцать четвертый провести, бродя по заповеднику детства. Какое везение, что в уплату требуется всего лишь пара мужских рук, сжимающих молоток либо лопату. Мне же нечем больше платить.

Все это я додумывал, уже мяса и разбрызгивая снег по дороге к вокзалу. Микропористые подметки двадцатирублевых ботинок за зиму раскисли и промокали насквозь, так что в электричку я сел с двумя холодными компрессами на ногах. Пусть их — оно даже приятней человеку, которого томит жар от предвкушения потрясающей удачи.

Как вовремя поверил я тихому, ясному предчувствию, свернул к киоску и не пожалел восьми копеек за свеженький номер «Приложения»!

Память меня не обманула — дом оказался именно там, возле преображенного магазина, чуть подальше, где каждой весной моего детства, на углу, вскипала горной лавиной, безостановочным падением душистых гроздьев, старая вислая черемуха. Я отворил калитку, по нерасчищенной дорожке прошел к полуторазтажному деревянному домику среди голого, прутьяного сада, прошитого кой-где высокими соснами. Стволы деревьев окольцовывали проталины: скоро снег сойдет, и меня обоймет утраченный и вновь обретенный эдем — черемуха, каштан, йодистое дыхание моря в складках занавески. На выпавшем за ночь, нетронутым слое мокрого снежка отпечатались только мои следы — я был первым, кто приехал по объявлению, а хозяйва с утра еще не выходили. Впрочем, над печной трубой вился дымный вихор.

Дверной звонок просверлил тишину, казавшуюся необитаемой. Выждав, я позвонил опять. Послышались шаркающие шаги; приволакивая ноги, человек вышел в прихожую и остано-

вился, брякнув связкой ключей. Мы стояли, разделенные дверью на две взаимные неизвестности.

— Kas tur? — донесся до меня надтреснутый голос.

— Эс сакараа ар слудинайуму, — объяснил я, на всякий случай вынув и расправляя «Рекламное приложение».

Связка ключей пришла в действие, сражаясь с одним, затем с другим замком на облупленной двери, которую я успел полюбить как врата моего летнего приусадебного эдема.

Несколько долгих мгновений хозяйка и я разглядывали друг друга, сверяя возникшего в проеме человека с первым, задверным впечатлением. Владычица моя была не так уж стара: около шестидесяти, но страшно худа, изглодана каким-то сухим, желтящим недугом. Поверх затрапезного платья низ ее живота обмотан был серым платком деревенской славной шерсти. Я понял, что дни этой женщины сочтены, и жальность повернулась в груди, как зазубренный ключ.

Запавшие, искрасневшиеся глаза прошли по моему лицу, газете в руке, куртке — импортной, но изрядно поношенной, ведь Эля достала ее еще накануне свадьбы.

— Iepāciet, — коротко бросила хозяйка и, придерживив левой ладонью боль, глубоко засевшую под козым платком, зашаркала в комнату. Я последовал за ней и, повинувшись жесту, расположился на скрипучем венском стуле. Она села по другую сторону массивного круглого стола — о, стол, буфет и стулья точь-в-точь, как были когда-то у нас; наверно, из одной мастерской, из одного магазина, тридцать лет тому... Нахлынуло, воскресло в видение бывших наших комнат, и я стиснул зубы, чтоб не всхлипнуть.

Хозяйка стала излагать свои условия, попробовала перейти на русский, видимо вследствие моего удручающего выговора. Я энергично попросил вести беседу на латышском, заверил, что все понимаю и хочу совершенствоваться во владении языком. Очень хочу, буду только рад, если она станет поправлять мои ужасные ошибки.

Судя по еле заметной растяжке губ, хозяйке польстило мое лингвистическое рвение. Честно говоря, я опасался национального барьера.

Она продолжила перечень требований к будущему постояльцу и работ-

нику. Я кивал, односложно выражал свое полнейшее согласие, удовольствие, совпадение во взглядах, обязался не водить «всяких женщин» и сознался в равнодушии к спиртному. Вдобавок прилгнул, что наделен солидным опытом садоводства и огородничества, про себя решив нынче же сходить в библиотеку и посвятить мой обширный досуг теории агрикультуры.

Собственно, эта часть разговора мне представилась чистойшей проформой, ибо я готов был на любые условия — любые!

Настал мой черед объясняться. Бойко попирая азы латышской грамматики, кое-где, по недостатку словарного запаса, вкрапывая по-русски, я поведал, что живу в Риге, в одной комнате с матерью, что могу уделять саду максимум заботы, поскольку нигде не работаю — инвалидность. И поспешно добавил, что инвалидность по состоянию нервной системы.

Хозяйка кивала. Видимо, мои излияния оказались для нее такой же проформой. Я чуял, что все давно решено, и побавался — а вдруг... Так не бывает... Чтобы все так...

— Ун галвенайс, эс шейт блакус дзивойу бэрнибаа, — заключил я тираду.

Лицо хозяйки просияло благостной улыбкой. Хотя ей-то какое дело, что я тут жил неподалеку, в детстве. Ей работник нужен. Пусть с чудовищным акцентом и «инвалидс пэц нервием», ей мои нервы и язык без надобности, были б руки.

Она встала и торжественно представилась. Марта.

Я поспешно вскочил и назвал свое имя, понимая, что тем самым договор ратифицирован.

Мы поднялись на верхний полуэтаж, в узенькую асимметричную мансарду. Койка, стул, тумбочка, проход (бокком). Голая лампочка, розетка. Я исто-во поклался Марте беречь электричество.

Она могла требовать чего угодно — ведь я стоял в средоточии воплощенного наконец, возвращенного рая, согретом выступавшим из единственной вертикальной стены, рядом с дверью, дымоходом, а за окном расстилался веренный моему попечению сад, он будет распускаться, цвести и плодоносить на моих глазах, шуметь под йодистым бризом, провожая меня в натру-

женный сон и встречая — свежего, налитого жизнью, как ранет на ветке.

Затем Марта спустилась по крутой лестничке, тщательно переставляя ноги, притиснув левой горстью боль под платком. Вдруг, спохватившись, на полдороге к полу она пообещала, через плечо, что запасет на будущую зиму яблоч не больше, чем способна съесть, а остальное смогу забрать я.

Рассыпавшись в благодарностях, я спросил, когда могу въехать.

— Kad vien vēlaties. Kaut tūlit.

Да-да, я пожелал, уже пожелал, и хотя не мог въехать прямо сейчас, но завтра — безусловно. Попрощался и заспешил на электричку. Мне предстояли: библиотека, сборы пожитков, объяснение с матерью.

2

Магия мест существует. Я вернулся в свое детство — лишь малышом я просыпался так бодро, с ясной головой и отчетливой, дружинистой каждой жить. Мог ли я предполагать тогда, в клинике, что весь плющивший меня кошмар обернется в конце концов свободой, отрешением, яблоневыми кущами возле моря?

Даже тоска по Тимошке пригlohла, уступив место надеждам. Я исправно звонил Элле, на исходе каждой недели шел в автомат и набирал ее (когда-то наш) номер с предварительным коммунитационным «б», и так же неизменно за усталым либо раздраженным «сколькоможноповторять — нет!» следовали едкие гудки в ритме моего сдавленного сердца. Признаться, после третьего скандала в парке у меня отбило охоту поджидать Тима на прогулке.

Бурная долгожданная весна прихлась на день моего переезда. Солнце будило меня все раньше, но еще до майских праздников Марта собственноручно сшила из ситцевого лоскута занавесочку, знак владетельного благоволения. Поразительно, сколько удовольствия доставила мне эта тряпица, прикрывавшая едва ли половину оконца. Лакедемонская суровость мансарды, с ее полосатыми обоями, оказалась так смягчена линиями ситцевыми цветочками, что мечтать о большем уюте представлялось мне наглостью. Не примите это за шутку, так оно и было.

Мать приехала, сопровождая меня при переезде, знакомиться с Мартой.

Покачала головой и поджала губы, про себя сопоставив мизерность мансарды с площадью сада. Впрочем, при виде хозяйкиной немочи она смягчилась, и вскоре женщины задушевно судачили в гостиной. Я приободрился, разобрав, что русский язык Марты будет куда похлеще моего латышского. Изюм всех глагольных форм она употребляла лишь прошедшее время женского рода, это придавало особую пикантность, когда речь заходила обо мне. Я получил от нее неизменное приращение к имени — «bedņij Pavils».

— Bedņij Pavils, kak on polučila tadu boleznj na nervi . . . Vai-vai, invalids, — сетовала бедная Марта, и мать, проследившись, кивала. К стати, мать, как и я, не сочла возможным пересечь улицу и пройти три квартала, отделявшие дом Марты от бывшего нашего. К чему травить душу . . .

Итак, весна вступила в права. Снег сошел, спиртовой столбик термометра гордо возвышался над нулевой чертой. Этот алый росток, заключенный в стеклянный, градуированный царевнин гробик, ото дня ко дню подрастал. Каждое утро, растопив плиту, я подолгу любовался им, прильнув к кухонному окну.

Хлопот по запущенному хозяйству Марты хватало. Я съездил в Ригу, купил гвоздей и взял ящик с инструментами. Еще я решил выкроить из следующей пенсии пятерку на титановые белила — все двери дупились, будто после затяжной скарлатины.

Питались мы с Мартой раздельно, хотя примерно одинаково. Творог, яйца, рыба, картошка. Но когда я осуществил наконец (в мае) свои малярные замыслы, Марта ахнула и сготовила обед на двоих.

Я отдыхал на койке, домик благоухал масляной краской; хозяйка поступалась и внесла блюдо рассыпчатой картошки, политой подсолнечным маслом, сбоку золотились две жирные салаки-копчушки и красовался подовый, с тмином, ломоть.

— Ješ, bedņij Pavils.

Смутившись, я замахал руками, стал отнекиваться, но Марта поставила еду на тумбочку, и ее левая кисть привычно скользнула к набрякшему большому животу.

— Ješ, — повторила она, улыбаясь, и я разревелся, как дитя. Марта провела по моим волосам свободной рукой,

усугубив судорожные всхлипывания, и деликатно вышла.

С того дня мы завели общий стол, и по двадцатым числам я, словно полноправный семьянин, клал в жестянку на комодке четыре десятирублевки. Большего ни Марта, ни я не тратили на свои желудки. А когда пошли первые собственные овощи, тут мы и вовсе заботогаляли.

Зеленый мой эдем разрастался, набирал силу, вскипал, а я крутился в нем как наскипидаренный, то и дело сверяясь с драгоценными пособиями для садоводов. Удобрения, карбофос, побелка, то-се. Жаль, Марта не внесла осенью суперфосфат. Теперь уж поздно, и сахаристость будет не та.

Марта наблюдала мое рвение с испуганным удовольствием, и раза два на дню чуть не силой гнала меня отдыхать, поминая мою инвалидность. Я посмеивался, садился возле сарайчика, на припекке, и прямил четырехгранные гвозди, извлеченные из старых досок, либо шваркал бруском по острию заступа.

Да, мне было смешно. Я себе казался не большим инвалидом, нежели яблона или кучевое облако. Делать им нечего, врачам. Еще я думал о том бедолаге, что семенит ежеутренне к восьми-пятнадцати в захудалую контору с видом на Домский собор, садится за бывший мой стол и включает калькулятор. Еще совсем недавно я мучительно, до слез ему завидовал, а теперь жалел его, как увечного. Целыми днями плятятся он на зеленую светящуюся цифирь, тычет в клавиши, исписывает вороха бланков, и сам он от такого немужского занятия приобретает прозелень под глазами. Ему некогда любоваться листвой. А я бодр, загорел, мышцы играют под распахнутой пропотевшей рубахой, и уже забыл, когда в последний раз ходил в аптеку за свечами «Анестезол». Между прочим, раньше и дня не жил без этих шелковистых, стыдных для молодого мужика свечек.

В ночь на Лигу я уставил круглый стол Марты пепси-колой. До рассвета мы пили колючее химическое пойло, хрустели редисом и луком, воздвигли курган из останков копченых пегес.

Марта пела дайны с лукавым подмигиванием, а в промежутках между пением щедро пересыпала латышскую речь неузнаваемой русской. А я терзался, что так и не выучился гитарному делу, однако исполнил весь классиче-

ский студенческий репертуар («... там студенты попарно шатаются...» и проч.), потом обрывки белогвардейских романсов, аккомпанируя себе разудалым перкашным треском спичечного коробка.

После пира, поднявшись в мансарду, обнаружил, что сна — ни в одном глазу. Затеплил свечу, вставленную в бутыл, достал с самодельной полочки бабулин Новый завет, раскрыл на Послании к Галафам. Однако не успел прочесть и главки, как подскочил от нечеловеческого крика. У Марты начался приступ.

Она лежала полураздетая на кровати, в страшной позе зародыша, уже не кричала — хрипела. Я бестолково метался, принес расплескивающийся стакан, пытался найти но-шпу, анальгин, хоть что-нибудь, потом ринулся на тихую светящуюся улицу, к телефону.

«Скорая» приехала действительно скоро. Врач, энергичный грузный латыш, наскоро пропальпировал Марту, предложил отвезти в больницу. Она наотрез отказалась: ее уже оперировали под Новый год, только хуже стало.

Я стоял, чуть не плача, беспомощно глядя, как на ее белой, венозной, старческой голени поблескивает кровавая струйка. Марта заметила кровь, попросила отвернуться, охая, сходила к шкафу. Хлюпавший тапок оставил на полу отпечатки.

Врач еще раз предложил больницу, получил отказ и, пожав плечами, направился прочь, подхватив деревянную аптечку. Марта хрипло стонала. Я заступил врачу дорогу и потребовал вколоть хотя бы обезболивающее и что-нибудь для свертываемости. Тот кивком пригласил меня в гостиную и снисходительно объяснил, что уже не первый раз сюда ездит. У Марты тромбоз флебит, свертываемость дай боже, иначе все давно было бы кончено.

— Скажите, это — рак? — спросил я шепотом.

— А вы, собственно, кто?

— Снимаю комнату.

— Вот и снимайте. Я пошел.

Я распыл себя в дверном проеме и потребовал обезболивающей инъекции.

— Вы знаете, сколько ампул нам дают на месяц? — жестко спросил врач, и его глаза сузились.

— Минуточку, — ответил я и направился к жестянке, что стояла в левом отделении буфета.

Сделав укол, врач сунул подотчетную пустую ампулу в фанерную аптечку.

После Марта никак не могла забыть мне этой траты, битую неделю твердила, дескать, «ak, kungs un dievs, nīšego, rotjerpela bi». Но тогда она блаженно забылась, едва могущество макового сока растеклось по ее иссохшему телу.

А я вернулся в мансарду, задул трепетающую свечу и устался на то, как в белесом свете иставляет кудрявый дымок над скрюченным длинным нагаром. Разделся, лег, уснул не хуже Марты. И вот тогда-то мне опять приснилось, что взлетаю. Я проснулся в ужасе, с мыслью, что началось по новой. Да, все как тогда — невесомость, блаженство левитирующего тела, ощущение тяжести одеяла вверху, но — нет опоры внизу, я парю... Одеяло соскальзывает на пол, я окончательно просыпаюсь и грохаюсь в надрытый скрежет пружин.

— Так, — спокойно сказал я себе. — Опять галики. Поздравляю.

Выцветший ситец сиял, зыблемый ветерком, пронзаемый полуденным солнцем.

Да, следовало ожидать: прошло как раз два года, и больничный принудительный литий покинул мою кровушку, начисто, до единого промилле. Рецидив. Мое счастье, что не надо на контрольные анализы.

— И пускай, — сказал я себе. — Черта лысого я им дамся. Вот рехнусь вконец, тогда пусть кладут. Безмозгло.

И расслабился. За два года забылось, до чего здорово, безудержно хорошо в гипомании. Эйфория просвечивала меня, как старый передник Марты, возведенный в ранг занавески.

Ну ладно, синдром отчетливый. Где же спонтанные навязчивые идеи? Они не замедлили. Тим!

Подпрыгивая от избытка энергии, я спешил к телефонной будке. Открываясь, дверь швырнула мне в глаза дивный солнечный сноп. Забыл впопыхах «б» перед рижским номером, перенабрал.

— Элла, это я. Слушай, может, хватит? Я не могу без Тима.

— А без меня? — спросила она.

— Я с тобой не могу. Ты сама это знаешь.

— Слышь, Смирнов, кончай душить, — предложила жена. — Возвращайся.

щайся. Старого не вернем, ни хорошего, ни плохого. Будем жить просто, как все. Ради сына. Твою инвалидность можно снять, я узнавала.

— Не выйдет, как все, Элла. И жить «просто» я не желаю. Беда нам. Ты слишком Змея, а я слишком Петух.

— Смирнов, я твоим шизовым гороскопам не верю. Хочешь — приходи, живи. Ты что — боишься меня?

— Боюсь, — сознался я.

— Как хочешь. Но иначе Тимофея тебе не видать. Клянусь его здоровьем.

Меня уже трясло. От одного голоса ее трясло. Хвала творцу, бросила трубку, иначе это сделал бы я.

Гадина. Гадина. Ну, ничего. Тим давно выучился ходить. А когда-нибудь начнет при-ходить. Вот так. Не выйдет. Ты не сделаешь нас чужаками. В его младенческой, глубинной памяти отпечатались бережные мои ладони, ты этого не сотрешь, не пытайся. Он сын, я отец. Он мой, будет мой. Вырастет, тебя же первую за это не похвалит. Гадина. Змея.

После обеда, когда я рыхлил грядки, Марта подошла, постояла, следя за бесславной гибелью сорняков. Вдруг спросила, что ж за болезнь такая у Павла — молодого, крепкого, как дубок.

— Кас пар слимibu? — переспросил я. — Зиниэт, Марта, цилвэкам ялидуот. Бэт эс... — и беспомощно прищелкнул пальцами, — ... ползаю.

Легкая улыбка понимания тронула ее губы. Да, конечно. Человеку надо летать. Если он ползает, это патология. Марта настолько естественно согласилась с моим шизовым заплетом, не требуя более никаких объяснений, что глаза мои ожгло слезами, я отвернулся и, еле различая плюмажи моркови сквозь волнистый слой влаги, стал тыкать в землю заступом.

По счастью, мои опасения не оправдались. Приступы пока не повторялись, хотя левая рука Марты по-прежнему гнездилась на животе все свое свободное время. А я кейфовал в суб-гипомании, растранив остатки моего кровного лития. Большого не следовало ожидать, поскольку Элла и Михаил Афанасьевич здесь до меня не доберутся. Я следил за своими состояниями, как кот за мышкой, но ничего, кроме ночной левитации и средненькой, субъективно восхитительной, эйфории не замечал. Миоз зрачков практиче-

ски отсутствует, пульс немножко выше среднего. Ну и ладно.

Говорил же я врачам, что у меня был невроз. А вдобавок — природная аффективно-лабильная акцентуация, по Леонгарду. Не верили. Вот вам, пожалуйста. Да у меня же все в порядке, я совершенно социален. С какой стати мне впаляли инвалидность!

Видно, Элла не врет сейчас, а раньше говорила: пожизненно. Надо снимать инвалидность любой ценой. В институт Сербского ехать, в конце концов. Да я дневник своих ощущений буду вести — хоть целый год, времени навалом. Приду на ВТЭК, положу перед ними талмуд — читайте, кто я есть. Какой, к лешему, шизофреник.

Неужто не поверят?

И тут я осекся. Тогда-то не поверили же. Почему должны поверить теперь, когда все давно решено? А дневник... да это же типичная шизовая заморочка. Предъяви я врачам дневник — только хихикнут, да упрячат в стационар на месячишко. Похоже, начинается всерьез. Неужто началось? Когда?! Только что я рассуждал как нормальный, и вот...

Боже, если ты еси на небе, помоги!

3

ПОСЛАНИЕ ПАВЛА К ТИМОФЕЮ

Сынок, ты еще не умеешь читать, а я пишу тебе письмо. Я начал его в июне, теперь перебеливаю, и за оконцем моей мансарды облетает сад. Писал я долго, понемножку, тщательно перedelывал. Оказывается, мало умения мыслить, чтобы излагать мысли.

Только не подумай, родной мой Тим, что я пытаюсь оправдаться перед тобой в причине, по которой мы с твоей мамой расстались навсегда. Для тебя давно припасено объяснение — когда ты однажды спросишь, где твой папа и кто он, тебе расскажут, что сначала все шло хорошо, а потом папа спятил. Рехнулся и бросил маму. Доходчиво, исчерпывающе, ведь мама лучше всех на свете, и только безумец способен уйти от нее по доброй воле.

Не подумай, что я хочу своим посланием запятнать маму в твоих глазах. Она ни в чем не виновата, поверь. Беда в том, что родилась она в год Змея, а я — в год Петуха. Мы несхожи, это губительно в первую очередь для меня. Над гороскопами принято

смеяться, и я сейчас тоже шучу, но в моей шутке немалая примесь горечи.

В тех же самых обстоятельствах, будь у меня иная жена, или у Эллы другой муж, все обошлось бы, пожалуй. Несхожесть наших натур повлекла катастрофу при первом же сейсмическом толчке. Виной всему мое лучезарное прекраснодушие, привычка закрывать глаза на то, что кажется несущественным. Я любил Эллу и был любим. Даже сейчас, когда все пошло прахом, я не могу присягнуть, что мне она нежеланна. Но одного взаимного притяжения тел слишком мало, сынок. Некому было растолковать мне это. Нет, лукавлю: если б даже растолковали, я с пеной у рта стал бы утверждать, что любовь превыше, с ней не страшно ничто, а несхожие натуры притрутся. Увы, при трениях лишь резче выступает несопадение.

Сынок, я хотел бы тебя уберечь от повторения моих ошибок. Таково извечное желание всех отцов, которому сбиться не суждено. Так устроен мир, что покуда не набьешь сам себе шишек, разума не наберешься. А потом опыт есть, но ни к чему — поздно. Мудрость не привить, как антоновку на дичок, увы.

Тим, сынок, в тебе — мои хромосомы, моя кровь. Элла пугается этого, она предполагает, что ты можешь пойти по моей дорожке, пролегающей через ворота психиатрической клиники. Даже если это (не приведи бог!) случится, тем более тебе нужно знать правду о своем отце.

Может статься, когда ты войдешь в разум, меня не будет на свете. Поэтому пишу сейчас и завещаю тебе свои записки. Буду просить Эллу, чтобы она ради твоего же блага передала их по назначению в день твоего совершеннолетия.

Итак, отец твой является официально признанным шизофреником, инвалидом, с вытекающими отсюда последствиями. Мой диагноз вынесен врачами синклитами, скреплен печатью ВТЭКа, освящен пенсионной книжкой и обжалованию практически не подлежит.

Помню, меня удивляла безрассудная жестокость языка, на котором говорят окружающие. «Псих», «сумасшедший», «шизик» — суть бранные клички. Почему бы не ругаться, к примеру, так: «Ах ты, диабетик!» «Гастритчик!» «Печеноч-

ник!» Неужто болезнь — вина и позор? Примерно так я размышлял бессонными ночами на продавленной койке в коридоре пятого отделения.

Несомненно, тогда я был болен, ныне отчетливо вижу, что побывал за чертой здравого рассудка. Но я возвратился, обогащенный нелегким опытом. С другой же стороны, с тех пор я обречен пожизненному страху лишиться ума, утратить собственную личность. Я отлично знаю, я испытал, сколь незаметно приходит это своего рода смерть, притом человек-то не сомневается в собственной нормальности, он свято уверен, что лишь цель нелепиц и врачебных ошибок приковала его к казенному психиатрическому одру. Повторяю, теперь-то я понимаю, что происходило со мной тогда. Тут применима теорема Геделя: оценить систему можно, только выйдя за ее пределы.

Вот, я вышел и вижу: твое рождение, сынок, так встряхнуло меня, что я стал слегка одержимым — я жил лишь тобой и Эллой, стоял, помню, под окнами роддома, пристегнув английской булавкой на грудь самодельный транспарант с крупной надписью «ЛЮБЛЮ!», и Элла, счастливая, слала воздушные поцелуи сквозь оконное стекло.

Ты родился в октябре, на месяц раньше срока, и весил два кило четыреста, недотягивая ста граммов до нормы. Всю ночь, когда Эллу забрала «скорая», просидел я в приемном покое, изнемогая от страха. Мне было известно, что восьмимесячные младенцы выживают даже реже семимесячных. Под утро мне сказали, что родился ты, мой Тимошка, родился живым, и от счастья случилась у меня истерика. Меня отпоили валерьянкой, я пошел на службу.

Плановым отделом, где я работал, заведовал Михаил Афанасьевич Бурасов, человек заслуженный, фронтовик, за шестьдесят, но бодр и крепок. В профессии он разбирался отлично, только не было у него главного качества плановика (и не одних, думается, плановиков) — прочного нравственного стержня. Надо цифру — даст цифру. Бурасов выкроит, будьте спокойны. Он явился моим наставником после университета. Его лихое выкраивание мне даже нравилось своим изысканным хитроумием, а главное, последующими премиальными каждый квар-

тал. У меня самого не хватало нравственного стержня, чтобы назвать вещи своими именами: ложь — ложью, подтасовку — подтасовкой. Здесь я не пытаюсь оправдаться. Просто объясняю.

Мы с Бурасовым всегда ладили, но в ту зиму, когда ты был грудным, у нас назрел конфликт. Как ни странно, первопричиной послужил . . . мой родной Тимошка. Элла и я растили тебя вдвоем, без дедушек и бабушек, а это оказалось труднее, чем я предполагал. Родители Эллы жили в Сыктывкаре, переезжать в Ригу не желали, а с моей мамой отношения испортились из-за размена квартиры. У нас была чудесная квартира — половина дома в Юрмале, рядом с морем, только вот с печным отоплением. Когда мы поженились, Элле не понравились наши печки, а главное, властная ворчливая свекровь. Ежедневно Элла пилила меня: ей — рожать, ей — стирать пеленки, неужто в холодной воде из ведра? В конце концов, когда она наконец забеременела, я подыскал обмен и употребил все свое влияние и логику, чтобы мать дала согласие. За двухкомнатную квартиру, притом с верандой, в Булдури, мы получили две комнаты в разных местах, со всеми удобствами, впрочем. Мать порвала с нами отношения. До чего я был слеп, до чего малодушен — я надеялся, что если мы с женой заживем одни, сразу наступит гармония. Не тут-то было.

В скором времени после твоего рождения наша жизнь и вовсе пошла наперекосяк. Лишь теперь я понимаю, что Эллой овладел психоз на почве послеродового гормонального сдвига. Тогда я видел перед собой просто фурию, с которой невозможно ни о чем договориться по-человечески. Я старался облегчить ей жизнь максимально — стирал пеленки, мыл полы, помогал готовить, не говоря уж о магазинных очередях, которых она со дня свадьбы не знала. Вечерами, после службы, ты переходил на мое попечение, и Элла занималась только кормлением, ибо тут я не мог ее подменить, но к рождению молока пропало, и тогда я уже был на равных с женой. Так что вплоть до шести месяцев я был для тебя не только папой, но и отчасти — мамой.

Да, ты спросишь, при чем же тут Бурасов, закаленный старый холостяк? А при том, что я то и дело опаздывал на работу — спал, не слыша бу-

дильника. Под воздействием бурасовских распеканий у меня развился стойкий страх проспать, что повлекло в итоге бессонницу. Проклятие тогдашней моей жизни — будильник — я стал класть в усыпанную медной мелочью алюминиевую миску. От трезвона просыпался я, просыпалась хмурая, разбитая Элла, с криком испуга просыпался ты, и после домашнего скандала я спешил к служебному нагоню — дескать, вечно клюю носом, отлыниваю и опаздываю, опять переврал две позиции в сводке, ну и тому подобное. Поверь, я не был никогда плохим работником, просто к субботе я мечтал об одном: выспаться. Ан не выходило. Ты, Тимошка, оказался горластый, а жили мы в одной комнате.

Да, еще. Мне приходилось то и дело увильвать с работы на часок-другой, чтобы снести твою коляску с третьего этажа, а после прогулки нести коляску назад. Мой обеденный перерыв растягивался неизменно, и Бурасов, багровея, каждый день орал, что влепит мне прогул. И, наконец, влепил, zasek по часам трехчасовое мое отсутствие (прогулка с коляской, обед и еще очередь за сосисками).

Только не подумай, Тимошка, будто я упрекаю хоть в чем-то тебя. Нет, это я оказался слабее других отцов и не вынес перегрузки, с которой запросто справился бы другой.

Итак, Бурасов закулил удила. Я тоже. Сначала я решил выложить все, что думаю, начальнику в лицо, хлопнуть дверью и уйти, скажем, в грузчики. Но Элла обозвала меня дурнем. Мол, по Бурасову давно пенсия плачет, и кому занять его место, как не мне. Я возражал, мне-де в двадцать шесть начальником не бывать, возьмут пришлого варяга. Однако сам втайне мечтал возглавить отдел, не сейчас, так с годами. Тонкости планирования я познал ничуть не хуже Бурасова, соображал даже лучше, за неимением склероза, и в былые времена спасал Михаила Афанасьевича от многих накладок. Репутацией пользовался отличной, одни грамоты да премии . . . до официального прогула, разумеется.

Накануне того, как мне далиговор за прогул, я увидел во сне, что взлетаю. Этот сон я время от времени видел сызмальства, но тут вдруг узрел в нем перст судьбы. Я заявил Элле, что человек должен летать, а не ползать. И подробно поделился с ней, как перед

самым пробуждением, на грани сна с явью, приподнимаюсь над простыней, чуть-чуть, на сантиметр, а потом падаю назад. Элла ответила, что я ворочаюсь во сне, как слон, и нечего строить из себя пташку. Я же заявил, что намереваюсь взлететь наяву — то есть свалить Бурасова в открытом единоборстве и стать начальником. Элла посоветовала мне сходить к врачу. Я заметил в ответ, что она дура, не понимающая метафор. Дальнейшее можно не излагать.

Ах да, Элла кричала: «Идиот! Бурасов заслуженный человек, с директором на вась-вась! Тебя вышвырнут! Чем тогда прикажешь кормить сына?!» Я отпечатаю на машинке секретарши плакатик:

**«Пища не приближает нас к Богу:
ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем;
не едим ли, ничего не теряем».**

1-е Кор., гл. 8, ст. 8

И намертво приклеил над нашим кухонным столиком. Сие изречение моего тезки, святого апостола Павла, сыграло роковую роль, как ты убедишься.

А тут подвернулся конфликт с первым цехом. Бурасов запорол им себястоимость, и весь коллектив остался без премиальных выплат. Я-то знал подоплеку. Начцеха Цинтыньш все грозился вывести Бурасова на чистую воду, вот и догрозился. Его самого обвели вокруг пальца и подвели под монастырь. Цех выполнил план идеально, на сто два процента, но цеховые расходы оказались превышены. В частности, списали малоценки на польтысячи за квартал, нет чтобы раскидать ее на год. Кое-что Бурасов потихоньку навесил с других подразделений, и по итогам квартала цех оказался нерентабельным, а Цинтыньшу вот-вот должны были дать по шапке.

И вот в конце марта я пришел на партсобрание, попросил слова и выступил с полуторачасовой речью. Рассказал про методы Бурасова, вскрыл всю его замаскированную кухню, привел плачевные примеры, когда я не мог вовремя исправить ущерб от начальникова склероза; а в заключение передал директору объемистую докладную, копия которой еще утром ушла заказной бандеролью в Москву. Разразился скандал, собрание окончилось затемно.

Взвинченный донельзя Цинтыньш провозжал меня до самого дома, твердил, что я, Смирнов, — единственный стоящий парень во всей шарашкиной конторе.

Позже, в депрессии, я дрожал от омерзения, потому что сначала подличал вместе с Бурасовым, затем — против него. Михаил Афанасьевич на партсобрании произнес одно только слово, оно было обращено сугубо ко мне и звучало так: «Говнюк!»

А тогда я летел на крыльях, как архангел, поражающий гада во имя высшей истины, и где мне было знать, что лития в моей крови содержится гораздо меньше 0,4 промилле.

Дома меня ждал ворох нестираных ползунков и скандал на тему «гдетыболтался». Когда же я рассказал о партсобрании и докладной, шквал попреков перерос в ураган. Я оделся и заявил, что навсегда ухожу из дома. Элла украдкой спрятала мои ключи. Я предложил на выбор: или выйду через дверь, или при посредстве левитации покину квартиру через окно. Это произошло в коридоре, и сосед Ивар (дважды разведенный), оценив мой мрачноватый юмор, отпер дверь своими ключами.

Так я ушел жить к матери. Спал на раскладушке, а перед сном регулярно выслушивал lamentации о том, какая дрянь Элла и какой своевольный и недальновидный у моей мамы сын. Зато на службу являлся раньше всех и уходил в пять. Бурасов сидел за столом напротив моего, и когда наши тяжелые взгляды встречались, непроизвольно поигрывал желваками.

Две недели спустя мне пришла на мамин адрес повестка из психоневрологического диспансера. Оказывается, Элла туда обратилась с заявлением. Я предстал перед врачебной комиссией, вкратце поведал свою историю и заверил, что, ежели они будут обследовать каждого мужа, который по-рывает со склочной женой, работы станет невпроворот. Председатель комиссии легонько улыбнулся, и я, приободрившись, попросил чего-нибудь снотворного. Мне велели поподробнее рассказать о своем самочувствии. Как на духу я поведал, что целыми ночами маюсь, как черт под кропилом, а когда просыпаюсь, не чую раскладушки, вроде как парю над ней. Председатель комиссии согнал улыбку с лица.

Мне выдали бюллетень по случаю нервного истощения, прописали этаперазин, феназепам, амитриптилин. Я блаженствовал, ибо некоторое время мог не скрещивать взгляд с Бурасовым. Съездил в «Детский мир», закупил цацек и пошел мириться с Эллой. В результате еле унес ноги; самыми мягкими выражениями были «псих» и почему-то «симулянт». А я-то всегo-навсего пытался вежливо поблагодарить за заботу о моем здоровье.

Никогда еще я не болел так благо-датно. Таблетки отрешили меня от Бурасова с Цинтыньшем, от сводок, премий, пеленок. Я лежал на раскла-душке сутками, спал за двоих, читал то «Справочник по психиатрии», то бабу-лин Новый завет — послания Павла. Знаешь, сын, они настолько прекрасны и мудры, что просятся в стихи. Ну, например:

ПРЕЛОЖЕНИЕ

главы 13-й 1-го Послания к коринфянам святого апостола Павла, выполненное сотрудником планового отдела Смирновым П. И.

Когда я обращаюсь к вам
На языке земном или небесном,
Но не имею истинной любви,
Я — медь звенящая, кимвал
звучащий.
Когда мне тайны бытия
подвластны,
И всякое познание имею,
И также веру и пророчеств дар,
Но без любви — я сущее ничто.
И если я раздам свое именье
И тело на сожжение отдам,
Но без любви, —
То проку в этом нет.
Любовь — долготерпенье,
милосердьe,
Гордыня или зависть — не
по ней,
Не ищет своего и не крушит
чужого,
Не раздражается, не мыслит
зла.
Не принимает лжи, сорадуется
правде,
Объемлет все, надеется и верит,
И переносит все.
Любовь —
Вовеки не перестает,
Хотя бы и пророчества исчезли,
Умолкли языки и знанье
упразднилось.

Мы лишь отчасти знаем,
Пророчествуем также лишь
отчасти.

Когда ж настанет
совершенное — тогда
Все, что отчасти, — прекратится.
Когда я был младенцем,
Я по-младенчески и говорил, и
мыслил,

Но ныне, став собой,
Младенчество оставил.
Теперь
Мы видим, как сквозь мутное
стекло,
Гадательно, тогда ж — лицом к
лицу,

Тогда я познаю, и не отчасти,
И познаю подобно, как и
познан.

Теперь
Есть вера и надежда и любовь.
Из них любовь — превыше.

17 апреля 198 ...

Обрати внимание на дату: через день я уже попал в клинику. По сю пору неведомо, откуда и как из меня вылилось это — сроду стихов не писал, даже когда за Эллой ухаживал. А тут — само.

Помнится, мама ежедневно пеняла мне, до чего ее мальчик себя заездил «с этой тварью». А я даже это фило-софически терпел.

Блаженство оборвалось на вторую неделю, когда я в очередной раз при-шел в диспансер на улице Калею, про-длевать бюллетень. Лечащий психиатр, седая латышка с отзывчивым лицом, сказала, что меня вызывает главный психиатр республики. Я не скрыл, что польщен: скромному астенику оказа-на такая высокая честь. В ответ мне по-рекомендовали держаться на новой ко-миссии как можно хладнокровнее. Оказывается, Элла настаивала на моей срочной госпитализации, и мне выпа-ло на долю предстать пред очи Рес-публиканского врачебно-консульта-ционного совета. Я вспомнил: два года тому назад Элла брала интервью у главного психиатра республики о но-винке — «телефоне доверия». Прек-расно помню ту статью, Элла дала мне ее в рукописи, и я даже подсказал кое-какие дельные мысли. Сразу я представил себя на месте главного психиатра, к которому является зна-комая журналистка с ребенком на ру-ках и умоляет вылечить блудного

мужа. Представил и, признаться, пожегся.

Врач успокаивала меня — она, председатель ВКК и главврач диспансера настаивали на том, чтобы лечить меня амбулаторно, как неопасного в социальном плане. Этой защитной линии мне и следовало держаться.

Пошли к главврачу диспансера, тот созвонился с клиникой, сообщил, что Смирнов сейчас выезжает к ним, и я двинулся в путь. Через полчаса я достиг владений главного психиатра республики, а уже через час оказался их полноправным обитателем.

Ибо на консультационном совете со мной беседовали не шибко много. Например, спросили, что у меня творится на работе. Я сказал, с начальником конфликт, и по моему письму выезжает московская проверочная комиссия. Поинтересовались, каким манером я собирался улететь в окно. Я ответил, мол, сюда добирался, между прочим, на троллейбусе. Зато во сне летаю с удовольствием. Мне предъявили плакатик с цитатой из апостола Павла. Элла ухитрилась-таки отклеить.

— Что вы этим хотели сказать? — спросил левый из троих врачей, помахивая листочком.

— Это не я сказал, я не апостол. А вы считаете всех, кто расклеивает плакаты, своими пациентами?

— Вы верующий? — поинтересовалась центральная психиатр, тощая дама со стальным блеском в очах.

— О нет. Просто люблю читать Писание. Скажите, по-вашему, религиозность является симптомом?

— Ничуть, — удостоили меня ответа. — А что вам дает чтение Евангелия?

— Выходит, ваш вопрос лишен смысла. Ну, а читаю я в основном не четвероевангелие, а новозаветные послания. Я чту апостола Павла как поразительного писателя и великого гуманиста.

Троица переглянулась.

— Ну что, коллеги, смешанное или гипома? — спросила председательствующая.

— Гипома, — двойным эхом прозвучало.

Тут у меня пропала охота умничать. Я лихорадочно стал объяснять, что у меня астеня, жестокая бессонница... «Вот мы вас и подлечим». Но я согласен амбулаторно, я уже лечусь, вот бюллетень... «В больнице

вас вылечат лучше». Я стал объяснять, что мой начальник просто заявит, его-де оппонент пребывает в дурдоме. Что у Цинтыньша вышибают из рук опору — меня. Что я согласен амбулаторно или в дневном стационаре, как угодно, лишь бы... Что госпитализация чревата для меня сильной психотравмой... Что первая заповедь Гиппократа — «не повреди»... Что...

А в дверях уже стоял, скрестив руки, санитар.

Тогда я сдался и заявил, что протестую, но вынужден подчиниться. И добавил, что прошу разрешить мне один звонок маме. Разрешили, придвинули стоявший на столе городской телефон. Я попросил мать не волноваться, врачи считают необходимым подлечить меня в стационаре, продиктовал ей телефон Цинтыньша и попросил поскорее передать ему мои позавчерашние заметки, они в красной папочке. Там детальный анализ по нормам расхода лаков и красок, пусть Цинтыньш воюет даже и без меня.

И вот я лежал пластом на койке в длинном коридоре пятого отделения республиканского дурдома, мимо меня шаркали туда-сюда бритые и лохматые больные, все как один будто пыльным мешком трахнутые. Я готов был грызть локти оттого, что так идиотски влип. Ночь напролет я не мог забыть сном, лекарства остались дома, а новых мне еще не назначили. Я вертелся на продавленной койке, чуть ли не пополам сложенный в скрипящей яме пружин, и до бесконечности варьировал, перекраивал разговор с консультационной троицей, кляня попутно себя за дурацкие шуточки, хотел, болван, подчеркнуть самообладание и здравый ум, надо же. Вновь и вновь аргументировал, почему нельзя, ну нельзя же, дорогие эскулапы, то есть, извините, товарищи врачи, заточать меня насильственно в психушку...

Невдомек мне было, что аргументы здесь ни при чем. Суженные зрачки и прерывистое дыхание определяются с первого взгляда, конфликты с начальством и женой давали статус социально опасного маниака, остальное — сотрясение воздуха, рутинная процедура, поскольку было бы некорректным запереть человека в больницу, не перемолвившись с ним ни словом.

После такой ночи, небритый, едва не плачущий от досады, я был пред-

ставлен знаменитому московскому профессору.

Впоследствии выяснилось, что бра-
вый малый Цинтыньш опрометью,
едва мама позвонила, примчался в
психбольницу и учинил такой разнос,
что сам чуть не угодил ко мне в ком-
панию. Он орал, что Смирнов гениаль-
ный специалист и лучший мужик в
нашей вшивой конторе, что Цин-
тыньш не бросит кореша на съедение
психиатрам, что он до Генерального
прокурора дойдет. Его мягко успокои-
ли, пообещав гениальному Смирнову
лучший сервис, особое внимание и вы-
писку в рекордные сроки. А для
подстраховки, на случай скандала, по-
казали меня московскому куратору,
который подвернулся под руку, —
профессору и, надо же, соавтору спра-
вочника, того самого, что я раздобыл в
библиотеке.

Завотделением Лец, рыжий кобельд
в мощных очках и с бородачкой, отвел
меня в кабинет главного психиатра и
представил заезшему светилу. Про-
фессор выглядел по-профессорски —
высок, сух, элегантен, с орлиным
иудейским ликом. Я залюбовался им,
едва вошел. Аура его интеллекта
исключала возможность нелепых оши-
бок. Меня спросили, нет ли жалоб на
состояние здоровья.

Обуреваемый надеждой, что хоть те-
перь меня поймут и отпустят, я начал,
захлебываясь, прежнюю вольнку. От-
репетированные за ночь искрометные
монологи напывали один на другой,
обрывались, путались, но перли неу-
держимо, напоподобие опары из квашни.

Профессор не пожелал долго ску-
чать и прервал меня легким, донель-
зя обидным в легкости своей, жестом.

— Молодой человек, — произнес
он. — Поймите, вы нездоровы. Этого
отрицать вы не можете, не так ли?
Значит, вас лечить надо. Вы видите
только себя. А я таких, как вы, тысячи
видел.

По инерции я пошел на добавочное
унижение.

— Но я ж согласен... согласен —
амбулаторно... меня же положили
принудительно, притом на койку в ко-
ридоре... я всю ночь глаз не сомк-
нул...

— Стационар всегда эффектив-
нее, — отрезал профессор и повер-
нулся направо, к главному психиат-
ру. — Сделайте милость, изыщите воз-
можность перевести в палату.

Я встал, прищурился. Терять было не-
чего.

— Профессор, — вкрадчиво сказал
я. — Вот меня хотят лечить от полета,
от вдохновения. Да, я взвинчен, зато
на днях закончил сложнейший эконо-
мический анализ, в рекордные сро-
ки, и сделал его вдобавок по памяти,
сделал изящно, не считите мои слова
бахвальством, просто знаю цену себе
и своему делу...

Московский куратор нетерпеливо
шевельнулся, и я усилил нажим, чтобы
опять не перебили.

— И вот от этого меня хотят ле-
чить? А есть ли гарантии, что вылечат?
Надо ли? Я считаю, мне достаточно
хорошего снотворного. Вон у вас,
профессор, невротический тик. Выхо-
дит, медицина не весельная?

Профессорское веко задергалось
еще заметнее.

— Не беспокойтесь, молодой чело-
век. Ваш случай не так страшен.

На том мы расстались, я вернулся
на койку в коридоре и до самого
вечернего укола развлекался пикиров-
кой с профессором-невротиком. «Ска-
жите, профессор, если бы вам под-
вернулся Александр Сергеевич в Бол-
динскую осень, тогда — как? Только не
считите, что напрашиваюсь на срав-
нение, я не мегаломан. Вы бы и его
определили на больничную койку с
гипома?» Я раслаживал противника на
обе лопатки и так и эдак, пока не по-
звали в процедурную.

Мне назначили оксидутират лития —
утром и вечером, шесть кубов в сутки,
плюс какие-то пероральные. На боль-
ничном жаргоне уколы, кстати весьма
болезненные, назывались «Першинга-
ми». «Эй, Смирнов, тебя на «Першинг»
зовут!» Лекарства по-латышски назы-
ваются «зэлес», и трижды в день кто-
нибудь из остряков протяжно звал:
«А ну, все — за-алу пить!»

Меня лечили поделом, и курс на-
значили правильный. Мой перевозбуж-
денный мозг поглощал массу лития из
крови, тем самым понижая его природ-
ную концентрацию, что, в свою очередь,
возбуждало нейроны сверх нормы, и
они требовали все больше солей лития,
и это дьявольское биохимическое ко-
лесо, однажды сорвавшись с тормозов,
пошло раскручиваться в моем мозгу, в
моей крови, само себя подстегивая
и набирая обороты, покауда я в изнемо-
жении валялся на койке, шлея от бес-
сонницы, и обличал Бурасова, оспари-

вал профессора, корил Эллу. Тогда я не умел объективно оценивать собственное состояние. Это сейчас я безошибочно чувствую, когда мой литий ниже нормы, причем безо всякой там пламенной фотометрии.

Кстати, меня госпитализировали в среду на Страстной неделе. Я только много позже осознал это и то, на какую горушку Голгофу взошел.

Таким образом, Пасху я встретил в клинике. Воскресным утром кланчик верующих из нашей палаты стал разговляться. Адвентист Толя (истерия), православный Лева (шизофрения) и баптист Юра (эпилепсия) чинно разложили на койке, подстелив газету, свои припасы. Горбушка батона послужила куличом, в эмалированную щербатую кружку налили яблочный сок, которому надлежало пресуществиться для евхаристии.

Лева, как старший по возрасту, освятил дары.

— Воззри на нас, Господи, в сей катакомбе, — вздохнул он. — Братие, примите и ядите. Сие суть плоть и кровь Христовы.

Я извлек из тумбочки принесенный матерью накануне самый настоящий кулич, а к нему две крашенки. Мать не веровала, но куличи пекла — в память о бабуле.

— Возьмите, ребята, — сказал я. — А то у вас Пасха не в Пасху.

— Садись с нами, брат, — пригласил Лева. — Неужто священный?

— А как же, — соврал я.

— Хоть на сей раз по-человечески.

Когда кулич уничтожили до крошки, нас позвали на завтрак. Лева взял кружку с соком, отложенный специально кусочек кулича и отправился в надзорную палату, причащать психопата Гену. Вчера Гена и маниакально-депрессивный Аркадий повздорили в клозете: первый из них слушал по «Спидоле» передачу «Би-би-си», второй — по «Селге» новости «Маяка». Слово за слово, идеологический конфликт перерос в мордобой, затем санитары разняли оппонентов, а врач определил их в «надзорку», под галоперидол внутримышечно.

Лева вышел из надзорной, я помянул его, стоя в очереди на завтрак.

— Я тебе занял.

— Спасибо, брат.

Сутулый, плешивый Лева был безнаден. Он слышал внутренние голоса

и беспрекословно им подчинялся. Из больницы он мог выйти лишь в гробу.

— Плохо Геннадью, — сказал он. — Колоты колют, а циклодола не дают. Вот его и трясет и крутит.

— Почему не дают?

— Может, забыли, а может, в наказание. Рыжий сатана его не любит. Помолчали.

— Скажи, брат, ты, я видел, Писание читаешь? — спросил Лева.

— Да.

— А почему молитву не творишь?

— Из сердца легче восходит, — набум ответил я.

— Ты не беспоповец, часом?

— Да как сказать . . .

Лева нахмурился. Еще несколько шажков к раздаточному окну мы сделали в молчании.

— Ну да ладно, — просветлел вдруг Лева, видимо услышав в своем мозгу неведомо чей глас. — Все мы дети Христовы. Христос воскрес!

— Воистину воскрес.

И мы прямо в очереди похристосовались касанием щек.

Я взял миску с кашей, сходил к холодильнику, попросил выдать мое масло, угостил им и Леву. Мы хлебали овсянку, и вдруг я, поперхнувшись, зарыдал.

Не смог я признаться Лева, что не верю ни во что, кроме взлета. Я хотел бы верить, как он, тихо и неколебимо. Возлагать упования свои на всевышнего. Стойко переносить скорби, ибо так угодно творцу. Молиться за обидчиков, за Бурасова того же. Но я не мог так. Человек не имеет права ползать, пусть даже пред Богом. Человек обязан летать. Ну, допустим, я все-таки взлетел бы — но куда? В кресло заводделом? В горние выси, к Христу, в которого никак не могу поверить?

Я, специалист с университетским дипломом, спортульторг, Смирнов П. И. (шизофрения), рыдал как малое дитя. Слезы капали в овсянку, а Лева, поглаживая бороду, ласково поощрял меня.

— Плачь, брат. Значит, благодать снизошла. Знак это. Помолитесь вместе?

Я кивнул. Ничего мне больше не оставалось, все отняли.

Потом я стоял в умывальне, прижавшись исколотым задом к горячей батарее. Твердые узлы оксидиурата никак не рассасывались. Я читал Послания Павла.

«Он дал нам способность быть служителями Нового завета, не буквы, но духа; потому что буква убивает, а дух животворит».

«Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно».

«Нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем».

«Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазнится, за кого бы я не воспламенился?»

«Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе».

«Ибо весь закон в одном слове заключается: «люби ближнего своего, как самого себя».

Павел, милый тезка, великая душа, мудрец и ренегат, львиная сила в хилом теле, как быть, если даже в тебе не нахожу утешения, если голос твой вызывает уже два тысячелетия — и никем не слышим?

С Галатов я перескочил на Первое к коринфянам, самое мое любимое.

«Сеется в унижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе...»

«Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное».

«Мы безумны Христа ради...»

Я безумен — ради кого?

«Никто не ищи своего, но каждый пользы другого».

Вот оно, вот оно. Я плевать хотел на Цинтыньша, он просто стал моим тараном против Бурасова. Меня прищемил за хвост начальник, и я тут же стал честным, принципиальным, разящим. А на деле отстаивал свое право делать дневной урок за три часа, потом гулять в парке с Тимом, слушать гулюканье сына, ловить его улыбку. Ну, и еще не прочь был урвать от общего пирога ломоть пожирнее, не намного, впрочем, разница в окладах — двадцать пять целковых.

И это — взлет?

Что я сделал с собой, с Тимом, во что превратил Эллу? Мою Элю — любимую, но ненавистную, но желанную, но ненавистную...

... Знать не хочу никакого алжирского бея!!

Заполночь я пошел в процедурную и пожаловался дежурной сестре на бессонницу — вечерние лекарства погрузили в забытие ровно на час, потом я очнулся с отвратительно пустой, звенящей головой.

Сестричка вынула трехлитровую банку коричневых драже, отсыпала мне четыре штуки.

Вернувшись в палату, я лег на продавленную койку. Встал, подложил под матрац халат и сложенное одеяло, лег в пижаме под простыню. Один черт, неудобно. Интересно, какую уйму бедолаг до меня баюкали эти проклятые дружинны? Соседу Леве тоже не спалось. Он сидел на койке по-турецки, глаза навывкате поблескивали в скудном дежурном освещении.

— Что, брат, — спросил он, — видать, через причастие благодать снизошла? Ночное бдение угодно Христу.

— Я таблеток попросил. И тебе советую.

— Нет. Мне голос был. Химия — от дьявола. Она бога во мне давит. Я ее уж который год прячу под язык, потом в сортир плюю. Так-то.

Скепсис моего компаньона не оправдался — четыре таблетки наконец оглушили меня.

В понедельник мне дали свободный режим, и я смог гулять сам по себе в больничном парке. Я увидел над прямиоугольным прудом напротив входа в наше отделение. Все дышало светом и покоем.

Я понял, что жизнь не кончена. Просто я шел не туда и не так. Я смешон был самому себе — Икар из шарашкиной конторы, тьфу! Весело и зло расставался я с собой и шел к себе — новому, и чувствовал себя надтреснутой почкой на ветке, в синеве и на ветру, а может, семечком, затаенным во влажной складке земли.

«Сеется в унижении...»

А назавтра меня лишили прогулок.

В ночь на вторник я вообще не сомкнул глаз. Вдобавок лежать мог только на животе — мне отменили вечерний литий, однако хватало утреннего укола в нерассосавшиеся шишки. Ходил просить коричневые драже, однако дежурила другая сестра, она шикнула на меня и прогнала, пригрозив впороть укол. Я соглашался и на укол, но она отложила журнал «Liesma» и вручную выперла меня из процедурной.

В третьем часу ночи я, чуть не плача,

ввалился в процедурную и попросил что угодно — хоть ломом по голове. Сестра посулила мне такое вколоть, что на всю жизнь запомню. Я и тут не отказался.

Тогда она сделала укол.

Всю ночь меня крутило, я не находил места на койке, тряся, бегал в умывальню и жадно хватал пересошим ртом тугую струю. И безумно хотелось спать, но мысли вихрились, и расслабиться не выходило; непрерывно я менял позу на пролежанной койке. Лева сидел по соседству, радовался, что благодать мне трудно дается, возносил молитвы.

Наконец, под утро я изнемог и предложил Левае сходить перекусить. Мы встали, пошли к кухне, где под дверью всегда стояло для подобных okazji ведро с ломтями хлеба. При надзорке караулил санитар Степан — хмурый, но не вредный. По моей просьбе он отомкнул кладовую и вынул из холодильника мои полпачки масла, обернутые в бумагу с означенной фамилией «Смирнов». Расположившись за столиком в коридоре, мы рубали сухари с маслом и запивали водой. Рядом неслышно возник тщедушный чернявый Вадик (маниакально-депрессивный). Он словно бы проявился из тьмы, как фотокарточка.

Целыми днями Вадик просиживал на подоконнике сортира (пробовал и на унитаже, но сгоняли) либо на своей раскладушке в коридоре и кропал что-то в общую разрыхленную тетрадь. Говорят, его привезли прямоком из общаги филфака, где он вел схожий образ жизни. Теперь от него не требовалось ходить на лекции.

— Если б Толстой жил сейчас, из дурчика не вылезал бы, — хрипло молвил он. — А про Достоевского и говорить нечего.

— Хрп... Чего? — спросил Лева.

— Говорю, пожрать дайте.

Я намазал ломоть и протянул. Вадик сделал книксен и засеменил к раскладушке. Вдруг его шуганул визгливый бабий голос.

— У, Гайда дежурит, — заметил Лева. — Фашистка...

Гайда, видимо, дочитала журнал. Она приближалась к нам в призрачно развевающимся белом халате.

— Так, Штейн! А ты — ты...

— Смирнов, — подсказал я.

— Оба — живо — в палату!

Я запротестовал.

— Не мешайте другим спать! — взвизгнула она. — Все будет сказано врачу!

— Дайте доест! — взорвался я. — Это мы будем жаловаться!

Гайда безуспешно пыталась вырвать у нас хлеб и кружки с водой.

— Ах так! — зашипела она и метнулась к надзорке.

Оттуда вышел Степан и вразвалочку направился к нам.

— Ну-ка — спать, — проворчал он. — Живо.

Как оплеванные, мы вернулись в палату и улеглись.

— В журнал происшествий запишет, — констатировал Лева. — Точно тебе говорю. Фашистка.

А наутро, в десять, меня не выпустили на прогулку.

— Как так? — подивился я. — Что за новости, только вчера мне разрешили...

— Вас вычеркнули из списка.

— Почему?!

— Спросите у врача.

— А где Никодим Владиславович?

— Еще не приехал.

— Так кто же вычеркнул?

— Спросите в процедурной.

Я помчался в процедурную, там сказали, что журнал у врачей. Я направился туда, но меня перехватили на полдороге.

— Нечего мешать. Надо будет — вас вызовут.

— Мне плохо. Мне нужен врач.

— Все заняты, — сказала санитарка. — Надо будет — вас вызовут.

Белокурая, хорошеющая, она смотрела мимо меня, в крайнем случае — сквозь. Подле меня возник Лева.

— Кончай, брат, — посоветовал он. — Нарвешься. Здесь «пятерка», не что-нибудь.

— «Пятерка»? Ну и...

Лева мягко потянул меня за рукав.

— Кончай-кончай. Тут раньше одних только буйных держали. Теперь тут все, кто с Октябрьского района. А замашки остались те же. Пойдем от греха.

Я подчинился, подошел к окну. Никодим Владиславович и впрямь отсутствовал, обычно он парковал свой горчичный «Запорожец» прямо напротив окон корпуса.

Часа два я прождал своего избавителя, упершись лбом в стекло. Наконец он подъехал, и я метнулся ко входу, однако из входного тамбура

доктор прошел налево, к себе, минуя общий коридор, и я услышал, как за дверью клацнул его торцовый ключ. Я колебался, еле удерживаясь, чтобы не забарабанить в дверь ногами.

— Идите к себе, — теревила меня санитарка с кудряшками. — Доктор вызовет. Вы слышите? Идите же в палату. Или санитарка позвать?

Скрепя сердце я подчинился. Оглянувшись в дверях палаты, увидел вдали рыжую всклокоченную шевелюру зава и помчался обратно; упустил — тот уже скрылся в процедурной. Я топтался под дверью, покуда он назначал схемы препаратов. Наконец доктор вышел.

— Никодим Владиславович! — рванул я к нему.

Он отмахнулся походя:

— После, некогда...

— Пять минут!! — крикнул я, но дверь кабинета уже захлопнулась, а кудрявая санитарка загородила мне дорогу с молчаливой укоризной на фарфоровом личике.

Бешено я мерил шагами коридор взад-вперед, взад-вперед, взад-вперед, закусив губу. Должен же он выйти когда-нибудь.

Здоровый человек не способен и предстать, какой пыткой становится для гипоманиака, с его повышенной двигательной активностью, хотя бы день взаперти.

Дряхлая санитарка с трясущейся головой подметала шваброй проход.

— Не ходите тут... — тупо бормотала она. — Нечего... Видите, я мету... Я мету... Не ходите...

Больные послушно сторонились. Лишь один, дерганый, со стеклянным взглядом, ослушался ее. Глядя куда-то поверх голов, он стремительно зашагал по коридору и, едва поравнявшись с рамоличкой, получил удар шваброй по хребту. Бедный демент обиженно взревел и скачками понесся прочь.

Я подошел к старухе, остановился перед ней изваянием ледяного гнева.

— Как вы смели ударить больно-го?! — спросил я начальственно.

— Пшел... Не мешай... — растерянно забормотала она, тыча шваброй в мои тапки.

— Я спрашиваю, как вы смели? — не отступал я. — Как ваша фамилия?

Краем глаза я отметил, что больные сгучились поодаль и с жадным любопытством наблюдают.

— Вот те фамилия! — рывкнула вежда и огрела меня шваброй.

Не подставь я предплечье, она разбила бы мне лицо.

— Не смейте бить!!! — от боли я сорвался на вопль.

Дрянная старуха еще раз ткнула меня, норовя попасть в пах, повернула и шмыгнула в сторону входа. Все поспешно расступились перед шваброй наперевес.

У меня тряслись губы, руки, колени.

Неподалеку, подпирая косяк «надзорки», стоял рослый детина, сменщик Степана.

— Вы видели? — крикнул я ему. — Вы — видели?!

— Я ничего не выдел, — усмехнувшись, ответил тот. — Я зато слышал, как вы орал.

И повернулся ко мне спиной.

Темная ярость заплескалась в мозгу. Я изо всех сил пытался не сорваться. Благо Лева ухватил меня за локоть, силком отволол в умывальную и заставил сунуть голову под кран. Если б не он, неизвестно, что бы я натворил.

Тут от дверей донося голос белокурой, выкликавшей мою фамилию. Наспех отирая лицо полкой пижамы, я ринулся на зов.

Оказалось, пришла мать, принесла супу в баночке и прочей снеди.

— Сынок, ты что натворил? — укоризненно сказала она. — Почему тебя не выпустят даже со мной?

Я перевел дух, взял себя в руки.

— Пожалуйста, мне нужно поговорить с завождеделением, — обратился я к фарфорово бесстрастной санитарке. — Очень вас прошу.

Она пожала плечиком.

— Сколько можно повторять? — наконец ее прохладные глаза сфокусировались на мне. — Ждите. Если надо, доктор сам вызовет.

— Ну вот что, — проговорил я, чувствуя себя, как если бы завис в десяти метрах над бассейном, оттолкнув ногами вышку. — Передайте доктору Лещу. Как только. Он. Сблаговолит. Поинтересоваться больными. Что. Смирнов объявил. Голодовку. Пока ему не уделят. Пять. Минут внимания.

Р-раз! Я смаху влетел в холодную оторопь. Нашел где бунтовать. Псих, трижды псих. Еще при матери...

— Пашенька, что ты... что ты... успокойся, — залепетала мать.

Фарфоровая санитарочка спокойно повернулась, клацнула замком и скрылась за пухлым дерматином двери. Минуту спустя мой недосыгаемый доктор резво выскочил из кабинета.

— Павел Иванович, прошу...

Я вошел. На столе лежала раскрытая книга, в пепельнице дымилась половинка сигареты.

— Садитесь, пожалуйста. Что это на вас накатило?

Продолжая стоять, я уставился ему в свхаченную очками переносицу, мучительно сглатывая комок в горле.

— Сейчас же, — произнес я медленно. — Вы дадите мне три драже элениума. И выпустите в парк. На час. Потом поговорим.

Рыжий кобельд вскинул брови.

— Ну... что ж... — сказал он, пробуя незначачими словами тишину, словно трясину шестом. — Пожалуй.

Когда он вышел, я заглянул в книгу — журнальный конволют в самодельном переплете, дюдик, с английского. Лец вернулся, неся в пригоршне три зеленых драже. Потом проводил до дверей тамбура, велел фарфоровой девиче выпустить меня, я сбежал за халатом, и мы с матерью очутились в парке. Меня колошматило с головы до пят, но элениум почти мгновенно окати нервы теплым опахалом. Сидя на скамье в «позе кучера», я налаживал дыхание и релаксировал, пока мать доставала борщик и оладьи, неуверенно отчитывая меня за строптивость.

— Да все нормально, мам, — сказал я, наконец, без спазм вдохнув клейкий пьяный воздух.

Мать накормила меня, чмокнула в щеку и ушла — я попросил оставить меня в одиночестве, и она безропотно подчинилась.

Через парк, вверх по склону, я вышел к другому корпусу больницы, спросил, которое тут мужское отделение, позвонил у дверей.

— Можно видеть заведующего? — спросил я у отворившего санитаря.

Заведующий оказался хрупкой брютеткой с точеным библейским лицом. Если бы я не ощутил моментального прилива доверия, пришлось бы извиниться за ошибку и ретироваться. С человека в моем положении взятки гладки.

— Доктор, скажите, у вас в отделении бьют больных швабрами? — спросил я, поздоровавшись и представившись.

— Насколько мне известно, нет.

— Тогда я хотел бы перейти к вам.

Спустя полчаса я сидел в кабинете Никодима Владиславовича. Я был жесток и зол. Полчаса назад мне объяснили, отчего я не спал две ночи кряду.

... Рыжий кобельд растерянно морщился.

— Итак, я официально требую от вас, доктор Лец, уволить за жестокое обращение с больными медсестру Гайдуду и ту санитарку, чья фамилия выглядит как удар шваброй...

— Сочанову, — вставил он.

— Не знаю. Она мне так представилась.

На том я закончил отчет о моих приключениях в отделении.

Как видишь, милый Тим, к тому времени я успешно пересек границу адекватности.

Лец закончил протирать очки и водрузил их на место.

— Павел Иванович, согласитесь, что ваше поведение и тон отчасти вызывают...

— А вы возьмитесь за швабру, — подсказал я. — Увидите, сразу стану шелковым.

— Ну нельзя же так. У Сочановой имеются пресенильные сдвиги, ну да. Вам-то до них далеко. Могли быть поддипломатичнее. — Он раздраженно размял сигарету, закурил.

— Сочановой можно спасибо сказать, — ответил я. — Знаете, я решил писать диссертацию. «К вопросу о швабротерапии применительно к больным гипомом». Метод лечения прост. Больного бьют, он начинает соскальзывать в реактивную депрессию, но процесс вовремя надо купировать элениумом, вообще любым малым транквилизатором. После чего имеет место практически мгновенная компенсация состояния.

— Это вы где так подковались? — поинтересовался кобельд.

— А я, знаете ли, читал иногда книжки. Полезное занятие, рекомендую.

Он перехватил мой взгляд в сторону английского детектива.

— Ладно. Обещаю вам сегодня же собрать персонал и решительно предупредить о...

— Уверены, что поможет? — съязвил я. — Предупредите заодно, что в пятом отделении больной может два дня маяться бессонницей, но не в силах

добраться до врача, чтобы сообщить об этом.

— Не понимаю, к чему вы . . .

— К тому, что у Эльвиры Иосифовны, скажем, ежеутренне делают обход. И в том отделении мне не забыли бы сделать вечерний литий, чтобы я благополучно спал всю ночь. Так что я, с вашего позволения, переберусь в первое отделение, к Эльвире Иосифовне. Она согласна.

Глаза Леца чуть не вылезли из очковой оправы.

Вкратце я объяснил суть дела.

— Кстати, меня сюда положил консультационный совет, — сделал я завершающий ход комбинации. — И выйду я не иначе, как через него. Если наши отношения испортятся, я смогу рассказать много любопытного о вашем отделении.

К чести кобольда, он не струсил, а оглядел меня с интересом и некоторой гадливостью. Второе означало, что я добился своего. Потом Лец взял трубку и созвонился с моей заступницей.

— Хорошо, хорошо, — заключил он. — Завтра утром он будет у вас. — Сегодня, — перебил я.

Лец оторвался от телефона.

— Что?

— Я из вашего кабинета пойду только туда. Сейчас же.

— Ах да, он желает сегодня . . . Да? Чудненько. Спасибо, коллега.

Он положил трубку, и я спохватился.

— Чуть не забыл. У Гены Лапчинского сильный паркинсонизм. Нельзя ли назначить ему ромпаркин для коррекции?

— Хм. Спасибо. Надо распорядиться. Знаете ли, когда на каждого ординатора по шесть больных . . .

— И еще, доктор Лец. Гена лежит в «надзорке» на матрасе, на полу. Вряд ли гуманно как метод воспитания. На складе есть раскладушки, правда?

Кобольд густо побагровел, встал из-за стола и с подчеркнутой любезностью распахнул дверь.

— Зина, позовите Ивара. Павел Иванович, до свидания. Ивар вас проводит.

У меня не доставало сил торжествовать.

— Прощайте, доктор Лец.

Дальше ничего особенного не случилось, Тим. Отделение Эльвиры Иосифовны

показалось мне курортом по сравнению с «пятеркой». Больные там были гораздо бодрее, а санитары вежливей. На майские праздники меня даже отпустили домой, к маме, и я принес «с воли» букет для моей заведующей.

Заседание ВТЭКа прошло без малейшей заминки, ведь мой неутешительный диагноз вынесло само московское светило. Мне дали инвалидность II группы.

Именно так все и было, я клянусь, Тим, что ничего не прибавил и не убавил. Может, кое-какие подробности излишни, но я же не писатель, в конце концов.

Остается добавить, что после проверочной комиссии из Москвы Бурасова вышибли по 254-й статье КЗоТа. Цинтыньш в восторге позвонил и сообщил об этом. Я ничего не испытал — ни радости, ни злорадства. Чем больше я копался в душе и в своих воспоминаниях, чем больше читал медицинские талмуды, тем отчетливей понимал, что находился под гнетом навязчивых идей и тактильных галлюцинаций, а это в совокупности давало четкую картину болезни Блейера, сиречь шизофрении.

Удивляюсь, как я не наложил на себя руки, осознав все. По-видимому, из-за надмирного, вакуумного равнодушия — мне стало наплевать, жить или не жить, ведь я официальный шизик, инвалид, мой разум в любой момент способен изменить мне и перейти в иную реальность, что равнозначно смерти. Я на том свете не был, но свидетельствую блаженство безумия, когда мир ярок и горяч и распахнут для полета. Впрочем, оксипутират лития обеспечивал мне примерно два года ремиссии, хотя и дорогой ценой: до самой зимы отходил я от больницы хими, выкарабкивался из затяжной медикаментозной депрессии. Стоило проснуться, наваливалась медведем грызущая тяжесть того, что необходимо влачить жизнь, и необходимость эта высекала слезы из глаз. Как правило, мой изнасилованный, оглушенный, неповоротливый мозг отказывался удержать и связать хотя бы два абзаца медицинского учебника. Прочитанное не задевало память и соскальзывало прочь. Да и мало проку в чтении. Моя голова бесполезна, что засвидетельствовано ВТЭКом и собесом.

Совсем недавно я был счастливым отцом, работником с отменной репутацией и перспективной, но судьба с утонченно античным злорадством пустила все прахом. Я уничтожен, сброшен со скрижалей живых, лишен права добиваться по суду свиданий с сыном, ибо ныне я хуже, чем ничто, ведь ничто не носит в черепе приглушенную инъекциями петарду безумия.

Тем летом я регулярно ездил в клинику, сдавал кровь из вены. Анализы оказались в норме, и я перестал глотать предписанный Эльвирой Иосифовной карбонат лития.

Узы кровной нежности — вот что еще держит меня в ломаной жизни. Нежность и надежда. Иначе давно бы я закинул веревку на ламповый крюк. Я ни о чем не жалею, потому что есть ты. Если б мне предложили прожить жизнь заново, но с тем, чтобы мой Тимошка не появился на свет, я без колебаний отказался бы.

Нет у меня ничего желанного, кроме тебя. Успехи, почет, достаток, карьера — суть юношеские горячечные мечты, они благополучно развеяны. Жизнь отвела мне окончательное место — в самом низу, среди немощных и обездоленных. Воздала за то, что я мечтал не о подлинном счастье, которое заключено в гармонии с собой и миром, а о сытом довольстве. Она лишила меня всего, как Иова, но я вдруг обрел самые большие и неотъемлемые радости, доступные любому бедняку и увечному. Солнце. Зелень. Дождь. Снежок. Да, эта жестокая на вид жизнь сама по себе священна и безгранично щедра. Надо лишь очистить сердце от суеты, соблазнов, гоньбы за мишурой и миражами. Там хорошо, где мы есть, и только там. Кто-то ест бифштекс, кто-то — обезжиренный творог. Но чувство насыщения — едино. Как смешон мне прежний Смирнов П. И., охотник до бифштексов. Ему некогда было просто бросить взгляд на траву или облака. Он раздувал свои аппетиты и гнался невесть за чем и куда. А наесться-то можно за сущие гроши, и при этом не чувствовать себя обделенным.

Ныне единственная моя жажда — ты, мой сын. Но она пока неутолима. Ставка моя на время, на то, что ты не отшатнешься от меня с равнодушием или ненавистью, когда подрастешь. Я не окажусь для тебя чужим пришельцем. Для меня нет и не будет никого

роднее тебя, первого и последнего, в ком пульсирует моя кровь, пусть бедная спасительным литием.

Теперь ты знаешь все, и можно перейти к главному итогу.

Невзирая ни на что, предназначение человека — летать.

Сын, я утверждаю это в здравом уме. Жизнь будет бить, уродовать, убеждать в обратном, но горе тому, кто поверит, что она не может быть другой, и покорно опустится на четвереньки.

Поверь мне, сын, и будь стоек.

Я желаю тебе взлететь.

Твой папа

4

Марта вышла на крыльцо и вдохнула полной грудью запах первоснежья. Сад сверкал в хрупком игольчатом уборе.

Ах, боже, до чего хорошо. До чего не хочется прощаться, но на комод, поверх вязаной салфеточки, лежит направление в больницу. Хоть бы поскорей уж, и все, подумала она. Сколько можно.

Она совсем готова ехать. Только бедный Павил куда-то спозаранку запропастился. А проститься надо, вдруг больше уже . . .

Хорошо, что он прижился здесь. Бедный Павил, бывают же такие болезни. Папочка небесный, до чего смешно выговорил он тогда — «цилвэкам ялидуют», вместо «jalido». Гордые какие слова, но жуткий акцент. Он слишком старается произносить долгие гласные, где надо и где не надо.

Где там летать, мой бедный Павил. Тебе никак не удастся повидать сына, хотя оба вы ходите по одной земле.

И мне тоже — куда там летать с эдакой болью и тяжестью в родильном месте. Ах, лгут они все, эти врачи. Никакие спайки не могут так болеть. Никакая это не киста. Ох . . .

Следы стоптаннных дешевых ботинок вели на дyonu. Почти у самого взгорбка деревянная дорожка обнажилась — тут бедный Павил поскользнулся, упал. Разметанный снежок хранит отпечатки съехавшей наискось ноги, бедер, пятерни. Расшибся, наверное. А, господь и бог, до чего болит. Я упаду, я не дойду обратно.

Окликну сверху и пойду себе. Дверь не запро, вдруг он без ключей.

Есть люди (даже пишущие стихи!), обделенные поэтическим чутьем. От имени такого вымышленного стихотворца Самойлов, резвясь и играя в свободное время в кругу друзей, написал целый цикл шуточных имитаций, в числе их было такое недоумение поэта перед ликом истинного поэта:

Какая странная идея
У Пушкина, не дурака,
Что будто бы грядя редя
И почему-то облака.

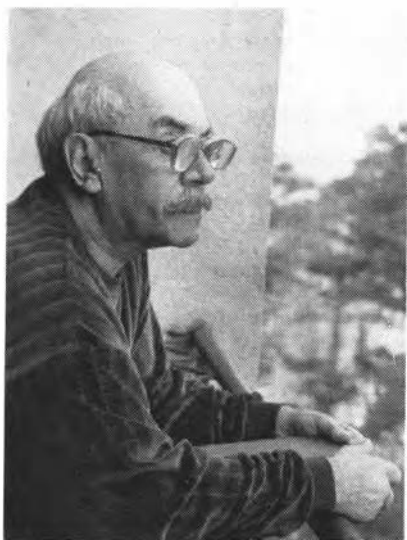
Настоящий поэт видит, что имеет дело с настоящим поэтом, даже если перед ним всего лишь подстрочник.

С первого прочтения, так сказать, «с листа», Самойлов оценил А. Чака как крупное явление в латышской поэзии. Больше всего его восхитила фактур-

ность, вещность стиха Чака, зоркость глаза и сочность деталей, без которых нет прочной фактуры. И еще то, без чего нет большого поэта: хотя бы и глубоко скрытое подчас, но тем не менее явственное чувство юмора (порой он может не входить непосредственно в стих, оставаясь «за кадром», но прищур Поэта все равно чувствуется), без контраста с которым трудно передается драматичность. И еще — дерзость Чака...

Чувствую, что получилось не совсем кратко, и потому, заканчивая, хочу лишь сказать, что и встреча настоящих поэтов, как правило, predeterminedена бывает тем, что называется судьбой...

Юрий АБЫЗОВ



Давид САМОИЛОВ

ДЕВЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

* * *

Меня не трогайте! Я занемог
Недугом русским — чахньем, надеждой.
На зов ее, как птица на манок,
Я отозвался с радостью поспешной.

Разочаровывать меня нельзя,
Разочаровывать меня жестоко.
Надеюсь, что верна моя стезя,
Надеюсь и на милосердье рока.

ИМПРЕССИОНИЗМ

Импрессионизм — дурное зренье,
Тусклый свет, расплывчатость фигур.
Но уже не время, а мгновенье
На тебя взирает сквозь прищур.

И не надо думать о дальнейшем,
Не держать идею в голове.
Почему бы не считать важнейшим
Те стога и завтрак на траве?

Как бы ни резвились по-дурачки
На траве, но в этом что-то есть.
Рядом осень смешивает краски
В октябре,
Когда темнеет в шесть.

* * *

Простое величье я видел однажды
В Ахматовой Анне Андреевне.
Не шли вереницей слоны, магараджи,
Победные стяги не реяли.

Но в той комнатенке, в той маленькой келье,
В пристанище дружеском, подле нас —
Ее остроумие, голос и чтение
Стихов, и особая подлинность.

В ней было простое величье природы,
Дыхание высокогорное.
В ней было явление особой породы,
Естественное, непритворное.

И как ни ласкали нас, ни привечали,
Вдруг явствовало перед лицами
С плеча ниспадение ахматовской шали,
Описанное очевидцами.

ТРАДИЦИОННЫЙ СТИХ

Стих из девятнадцатого века
С небольшой присадкой современности —
От ее прерывистого бега,
Диссонансов и несоразмерности,

В остальном похоже. Но не слишком
Обольщайтесь внешнею похожестью.
Это хитрость, связанная с риском
Быть понятным всякому убожеству.

Но его читатель знает цену
Сюртукам, что он, кряхтя, натягивал
На себя. Ведь, выходя на сцену,
По одежке ножки не протягивал.

* * *

Остренький листок — как свечка,
Огонечек к новоселью.
Мы уже узнали нечто
Страшное про нашу землю.

Дымы, мощные как кроны, .
В небесах сомкнулись дружно.
Для погибели-то, кроме
Дымов, ничего не нужно . . .

* * *

Подстригай и прореживай кроны,
Чтоб плоды наливались полней.
У поэзии те же законы —
Надо слово прореживать в ней.

Находи и вырезывай лишнее,
Не жалея и прореживай вновь!
Видишь: строчка спелую вишнею
Разбивается в кровь.

* * *

А вот и старость подошла
На цыпочках. Глаза прикрыла
Мои ладонями. Спросила:
— Кто я? — Не мог я угадать.
Она сказала:
— Я могила.

Она была так молода,
Что вовсе страшной не казалась.
Она беспечно улыбалась.
Переспросил:

— Ты старость?
— Да.

* * *

Тщеславье — грех. И может быть, большой.
Оно себя блюдет неутомимо.
И совершая подвиги с гнильцой,
За то награды требует у мира.

А подвиги не требуют наград.
Им Времена определяют цену.
А мы едим незрелый виноград
И с браги бурных дней глотаем пену . . .

ПОРА!

Откройте, наконец, архивы,
Чтоб выволочь на божий свет
То, чем тогда мы были живы,
В начале юношеских лет.

Пусть, наконец, проглянут лица —
Тот простодушен, тот лукав.
А тот, кто этого боится,
Пусть прячет голову в рукав.

Снимите с наших глаз повязки,
Чтоб каждый разглядеть сумел
Что выпадет при перетряске
Открытых и закрытых дел.

Отдайте же на суд палаты,
Где всяк судья и адвокат,
Признань тех, кто виноваты,
И тех, кто лгал, что виноват.

По непреложным ли законам,
А может, просто так, с плеча,
Влекли к столыпинским вагонам
Или под пулю палача.

Цель правосудия — прощенье,
Но лишь тогда, когда даны
Без домьсла и извращенья
Все доказательства вины.

Так отомкните же архивы!
Избавьте нас от небылиц,
Чтоб стали ясными мотивы
Событий и деянь лиц!

Одна ль история причастна
К тому, что деют времена,
И гибель русского крестьянства
Не ею ли предрешена?

За самовольство всех диковин
Поди с Истории спроси!
А может, кто-то был виновен
В том, что творилось на Руси?

Пускай Народная Палата
Сберется. И, надев очки,
Поглядывает брат на брата,
Протягивает: «На, прочти!»

Чего боитесь? Превосходства
Над нами духа тех времен?
Или несходства? Или сходства?
Иль возмущения племен?

Откройте сейфы! Вот тогда-то
Свершится всенародный суд.
Пусть встанут адвокаты ката
И речи пусть произнесут.

Потом пусть встанут прокуроры
И прочитают им в упор
Доносы, самооговоры
И тайны пыточных контор!

И перед приговором трудным
Пусть воцарится тишина
И смолкнет перед часом судным
Вся многоликая страна.

Тогда, свободная от чуши,
Она в сознание высших прав,
Осудит, очищая души,
И только этим покарав!



АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ

Журнал «Новый мир» в № 8 начал публикацию глав из романа А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Журнал «Даугава» с разрешения автора печатает главы из части третьей, не вошедшие в новомирскую подборку.

World ● 1974—1980 by The Russian Social Fund for Persecuted Persons and Their Families

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ — ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ

«Только эти могут нас понимать, кто кушал разом с нами с одной чашки».

(Из письма гуцулки, бывшей зэчки)

Глава 10

ВМЕСТО ПОЛИТИЧЕСКИХ

Но в этом угрюмом мире, где всякий гложет, кто кого может; где жизнь и совесть человека покупаются за пайку сырого хлеба, — в этом мире что же и где же были политические — носители чести и света всех тюремных населений истории?

А мы уже проследили, как «политических» отъединили, удушили и извели. Ну, а взамен их?

А — что взамен? С тех пор у нас нет политических. Да у нас их и быть не может. Какие ж «политические», если установилась всеобщая справедливость? В царских тюрьмах мы когда-то льготы политических использовали, и тем более ясно поняли, что их надо

кончать. Просто — отменили политических. Нет и не будет!

А те, кого сажают, ну, это каэры, враги революции. С годами увяло слово «революция», хорошо, пусть будут враги народа, еще лучше звучит. (Если бы честь по обзору наших Потоков всех посаженных по этой статье, да прибавить сюда трехкратное количество членов семей — изгоняемых, подозреваемых, унижаемых и теснимых, то с удивлением надо будет признать, что впервые в истории народ стал враг самому себе, зато приобрел лучшего друга — тайную полицию.)

Известен лагерный анекдот, что осужденная баба долго не могла

понять, почему на суде прокурор и судья обзывали ее «конный милиционер» (а это было «контрреволюционер»!). Посидев и посмотрев в лагерях, можно признать этот анекдот за быль.

Портной, откладывая иглолку, вколол ее, чтоб не потерялась, в газету на стене и попал в глаз Кагановичу. Клиент видел. 58-я, 10 лет (террор).

Продащица, принимая товар от экспедитора, записывала его на газетном листе, другой бумаги не было. Число кусков мыла пришлось на лоб товарища Сталина. 58-я, 10 лет.

Тракторист Знаменской МТС утеплил свой худой ботинок листовкой о кандидате на выборы в Верховный Совет, а уборщица хватилась (она за те листовки отвечала) — и нашла, у кого. КРА, контрреволюционная агитация, 10 лет.

Заведующий сельским клубом пошел со своим сторожем покупать бюст товарища Сталина. Купили. Бюст тяжелый, большой. Надо бы на носилки поставить, да нести вдвоем, но заведующему клубом положение не позволяет: «Ну, донесешь как-нибудь потихоньку». И ушел вперед. Старик-сторож долго не мог приладиться. Под бок возьмет — не обхватит. Перед собой нести — спину ломит, назад кидает. Догадался все же: снял ремень, сделал петлю Сталину на шею и так через плечо понес по деревне. Ну, уж тут никто оспаривать не будет, случай чистый. 58-8, террор, 10 лет.

Матрос продал англичанину зажигалку-«Катюшу» (фитиль в трубке да кресало) как сувенир — за фунт стерлингов. Подрыв авторитета Родины, 58-я, 10 лет.

Пастух в сердцах выругал корову за непослушание «колхозной б...» — 58-я, срок.

Элочка Свирская спела на вечере самодеятельности частушку, чуть трагивающую, — да это мятеж просто! 58-я, 10 лет.

Глухонемой плотник — и тот получает срок за контрреволюционную агитацию! Каким же образом? Он стелет в клубе полы. Из большого зала все вынесли, нигде ни гвоздика, ни крючка. Свой пиджак и фуражку он, пока работает, набрасывает на бюст Ленина. Кто-то зашел, увидел. 58-я, 10 лет.

Перед войною в Волголаге сколько было их! — деревенских неграмотных стариков из Тульской, Калужской, Смоленской областей. Все они имели ста-

тью 58-10, то есть антисоветскую агитацию. А когда нужно было расписаться, ставили крестик. (Рассказ Ложилина.)

После же войны сидел я в лагере с ветлужцем Максимовым. Он служил с начала войны в зенитной части. Зимой собрал их политрук обсуждать с ними передовицу «Правды» (16 января 1942 года: «Расколошматим немца за зиму так, чтоб весной он не мог подняться!») Вытянул выступать и Максимов. Тот сказал: «Это правильно! Надо гнать его, сволоча, пока выюжит, пока он без валенок, хоть и мы часом в ботинках. А весной-то хуже будет с его техникой...» И политрук хлопал, как будто все правильно. А в СМЕРШ вызвали и накрутили 8 лет — «восхваление немецкой техники», 58-я. (Образование Максимова было — один класс сельской школы. Сын его, комсомолец, приезжал в лагерь из армии, велел: «матке не описывай, что арестован, мол — в армии до сих пор, не пускают»). Жена отвечает по адресу «почтовый ящик»: «да уж твои года все вышли, что ж тебя не пуцают?» Конвойный смотрит на Максимова, всегда небритого, пришибленного да еще глуховатого, и советует: «Напиши: дескать, в комсостав перешел, потому задерживают». Кто-то на стройке рассердился на Максимова за его глуховатость и непонятливость, выругался: «испортили на тебя 58-ю статью!»)

Детвора в колхозном клубе баловалась, боролась, и спинами сорвали со стены какой-то плакат. Двум старшим дали срок по 58-й. (По Указу 1935 года дети несут по всем преступлениям уголовную ответственность с 12-летнего возраста!) Мотали и родителям, что подучили, подослали.

16-летний школьник-чувашенок сделал на неродном русском языке ошибку в лозунге стенгазеты. 58-я, 5 лет.

А в бухгалтерии совхоза висел лозунг: «Жить стало лучше, жить стало веселей. (Сталин)». И кто-то красивым карандашом приписал «у» — мол, Сталину жить стало веселей. Виновника не искали — посадили всю бухгалтерию.

Уж конечно карается 58-й сбор денег в цеху на помощь жене арестованного рабочего. (Да как еще осмелились, спросить!)

Гесель Бернштейн и его жена Бесчастная получили 58-10, 5 лет за... домашний спиритический сеанс. Следователь добивался: сознайся, кто еще крутил? (А в лагере прошел слух, что

Гесель сидит «за гадания», — и придурки несли ему хлеб и табак: погадай и мне!)

Вздорно? дико? бессмысленно? Ничуть не бессмысленно, вот это и есть «террор как средство убеждения». Есть посливица — бей сороку да ворону — добьешься и до белого лебедя! Бей подряд — в конце концов угодишь и в того, в кого надо. Первый смысл массового террора в том и состоит: подвернутся и погибнут такие сильные и затаенные, кого по одиночке не выловить никак.

И каких только не сочинялось глупейших обвинений, чтоб обосновать посадку случайного или намеченного лица!

Григорий Ефимович Генералов (из Смоленской области) обвинен: «пьянствовал потому, что ненавидел советскую власть» (а он пьянствовал потому, что с женой жил плохо), — 8 лет.

Ирина Тучинская (невеста сына Софроничьего) арестована, когда шла из церкви (намечено было всю семью их посадить), и обвинена, что в церкви «молилась о смерти Сталина» (кто мог слышать ту молитву?!), — террор! 25 лет.

Александр Бабич обвинен, что «в 1916 году действовал против советской власти (!!) в составе турецкой армии» (а на самом деле был русским добровольцем на турецком фронте). Так как попутно он был еще обвинен в намерении передать немцам в 1941 году ледокол «Садко» (на борт которого был взят пассажиром), — то и приговор был: расстрел! (Заменили на червонец, в лагере умер.)

Сергей Степанович Федоров, инженер-артиллерист, обвинен во «вредительском торможении проектов молодых инженеров»: ведь эти комсомольские активисты не имеют досуга добывать свои чертежи. (Тем не менее этого отъявленного вредителя возили из Крестов... на военные заводы консультантом.)

Член-корреспондент Академии наук Игнатовский арестован в Ленинграде в 1941 и обвинен, что завербован немецкой разведкой во время работы своей у Цейса в 1908 году! — притом с таким странным заданием: в ближайшую войну (которая интересует это поколение разведки) не шпионить, а только в следующую. Поэтому он верно служит царю в первую мировую войну, потом советской власти, налажи-

вает единственный в стране оптико-механический завод (ГОМЗ), избирается в Академию наук, — а вот с начала второй войны пойман, обезврежен, расстрелян!

Впрочем, большей частью фантастические обвинения не требовались. Существовал простенький стандартный набор обвинений, из которых следовательно достаточно было, как марки на конверт, наклеить одно-два:

- дискредитация Вождя;
- отрицательное отношение к колхозному строительству;
- отрицательное отношение к государственным займам (а какой нормальный относился к ним положительному!);
- отрицательное отношение к Сталинской конституции;
- отрицательное отношение к (очередному) мероприятию партии;
- симпатия к Троцкому;
- симпатия к Соединенным Штатам;
- и так далее, и так далее.

Наклеивание этих марок разного достоинства была однообразная работа, не требовавшая никакого искусства. Следовательно нужна была только очередная жертва, чтобы не терять времени. Такие жертвы набирались по разверстке оперуполномоченными районов, воинских частей, транспортных отделений, учебных заведений. Чтоб не ломать головы и оперуполномоченным, очень кстати тут приходились доносы.

В борьбе друг с другом людей на воле доносы были сверхоружием, иск-лучами: достаточно было только направить невидимый лучик на врага — и он падал. Отказу не было никогда. Я для этих случаев не запоминал фамилий, но смею утверждать, что много слышал в тюрьме рассказов, как доносом пользовались в любовной борьбе: мужчина убирал нежеланного супруга, жена убирала любовницу или любовница жену, или любовница мстила любовнику за то, что не могла оторвать его от жены.

Из марок больше всего шел у следователей в ход десятый пункт — контрреволюционная (переименованная в антисоветскую) агитация. Если потомки когда-нибудь почтитают следственные и судебные дела сталинского времени, они диву дадутся, что за неутомимые ловкачи были эти антисоветские агита-

торы. Они агитировали иголкой и рваной фуражкой, вымытыми полами (см. ниже) или нестиранным бельем, улыбкой или ее отсутствием, слишком выразительным или слишком непроницаемым взглядом, беззвучными мыслями в черепной коробке, записями в интимный дневник, любовными записочками, надписями в уборных. Они агитировали на шоссе, на проселочной дороге, на пожаре, на базаре, на кухне, за чайным домашним столом и в постели на ухе. И только непобедимая формация социализма могла устоять перед таким натиском агитации!

На Архипелаге любят шутить, что не все статьи уголовного кодекса доступны. Иной и хотел бы нарушить закон об охране социалистической собственности, да его к ней не подпускают. Иной, не дрогнув, совершил бы растрату — но никак не может устроиться кассиром. Чтоб убить, надо достать хотя бы нож, чтоб незаконно хранить оружие — надо его прежде приобрести, чтоб заниматься скотоложеством — надо иметь домашних животных. Даже и сама 58-я статья не так-то доступна: как ты изменишь родине по пункту «1-б», если не служишь в армии? как ты свяжешься по пункту «4» с мировой буржуазией, если живешь в Ханты-Мансийске? как подорвешь государственную промышленность и транспорт по пункту «7», если работаешь парикмахером? если нет у тебя хоть поганенького медицинского автоклавчика, чтоб он взорвался (инженер-химик Чудаков, 1948 год, «диверсия»)?

Но 10-й пункт 58-й статьи — общедоступен. Он доступен глубоким старухам и двенадцатилетним школьникам. Он доступен женатым и холостым, беременным и невинным, спортсменам и калекам, пьяным и трезвым, зрячим и слепым, имеющим собственные автомобили и просящим подавание. Заработать 10-й пункт можно зимой с таким же успехом, как и летом, в будний день, как и в воскресенье, рано утром и поздно вечером, на работе и дома, в лестничной клетке, на станции метро, в дремучем лесу, в театральном антракте и во время солнечного затмения.

Сравниться с 10-м пунктом по общедоступности мог только 12-й — недонесение или «знало-не сказал». Все же, как выше сказано, могли получить этот пункт и во всех тех же условиях, но облегчение состояло в том, что для этого не надо было даже рта раскры-

вать, ни братья за перо. В бездействии пункт и настигал! А срок давался тот же: 10 лет и 5 «намордника».

Конечно, после войны 1-й пункт 58-й статьи — «измена родине», тоже не мог показаться труднодоступным. Не только все военнопленные, не только все оккупированные имели на него право, но даже те, кто мешал с эвакуацией из угрожаемых районов и тем выявлял свое намерение изменить родине. (Профессор математики Журавский просил на выезд из Ленинграда три места в самолете: жене, большой свояченице и себе. Ему дали два, без свояченицы. Он отправил жену и свояченицу, сам остался. Власти не могли истолковать этот поступок иначе, как то, что профессор ждал немцев. 58-1-а через 19-ю, 10 лет.)

По сравнению с тем несчастным портным, клубным сторожем, глухонемым, матросом или ветлужцем, уже покажутся вполне законно осужденными:

— эстонец Энсельд, приехавший в Ленинград из независимой еще Эстонии. У него отобрали письмо по-русски. Кому? от кого? «Я — честный человек, и не могу сказать». (Письмо было от В. Чернова к его родственникам.) Ах, сволочь, честный человек? Ну, езжай на Соловки! .. Так он же хоть письмо имел.

— Гиричевский. Отец двух фронтовых офицеров, он попал во время войны по мобилизации на торфоразработки и там порицал жидкий голый суп (так порицал-таки! рот-то все же раскрывал!). Вполне заслуженно он получил за это 58-10, 10 лет. (Он умер, выбирая картофельную кожуру из лагерной помойки. В грязном кармане его нашли фотографию сына, грудь в ордене.)

— Нестеровский, учитель английского языка. У себя дома, за чайным столом рассказал жене и ее лучшей подруге (так рассказал же! действительно!), как нищ и голоден приволжский тыл, откуда он только что вернулся. Лучшая подруга заложила обоим супругов: ему 10-й пункт, ей — 12-й, обоим по 10 лет. (А квартира? Не знаю, может быть — подруге?)

— Рябинин Н. И. В 1941, при нашем отступлении, прямо вслух заявил: надо было меньше песню петь — «нас не тронешь, мы не тронем, а затронешь — спуску не дадим». Да подлеца такого

расстрелять мало, а ему дали всего 10 лет!

— Реунов и Третьюхин, коммунисты, стали беспокоиться, будто их оса в шею жалила, почему съезда партии долго не собирают, устав нарушают (будто их собачье дело! . . .), Получили по десятке.

— Фаина Ефимовна Эпштейн, пораженная преступностью Троцкого, спросила на партсобрании: «А зачем его выпустили из СССР?» (Как будто перед ней партия должна отчитываться. Да Иосиф Виссарионович, может быть, локти кусал!) За этот нелепый вопрос она заслуженно получила (и отсидела) один за другим три срока. (Хотя никто из следователей и прокуроров не мог объяснить ей, в чем ее вина.)

А Груша-пролетарка просто поражает тяжестью преступлений. Двадцать три года проработала на стекольном заводе, и никогда соседи не видели у нее икон. А перед приходом в их местность немцев она повесила иконы (да просто бояться перестала, ведь гоняли с иконами) и, что особенно отметили следствие по доносу соседок, — вымыла полы! (А немцы так и не пришли.) К тому ж около дома подобрала красивую листовку немецкую с картинкой и засушила ее в вазочку на комод. И все-таки наш гуманный суд, учитывая пролетарское происхождение, дал Груше только: 8 лет лагеря да три года лишения прав. А муж ее тем временем погиб на фронте. А дочь училась в техникуме, но кадры все допекали: «где твоя мать?» — и дочка отравилась. (Дальше смерти дочери Груша никогда не могла рассказывать — плакала и уходила.)

А что давать Геннадии Сорокину, студенту 3-го курса Челябинского пединститута, если он в литературном студенческом журнале (1946) написал собственных две статьи? Малую катушку, 10 лет.

А чтение Есенина? Ведь всё мы бываем. Ведь скоро объявят нам: «так не было, Есенин всегда был почитаемым народным поэтом». Но Есенин был — контрреволюционный поэт, его стихи — запрещенная литература. М. Я. Потапову в рязанском ГБ выставили такое обвинение: «как ты смел восхитаться (перед войной) Есениным, если Иосиф Виссарионович сказал, что самый лучший и талантливый — Маяковский? Вот твое антисоветское нутро и сказалось».

И уж совсем заядлым антисоветчиком выглядит гражданский летчик, второй пилот «Дугласа». У него не только нашли полное собрание Есенина; он не только рассказывал, что крепко и сытно жили люди в Восточной Пруссии, пока мы туда не пришли, — но он на диспуте в летной части вступил в публичный спор с Эренбургом по поводу Германии. (По тогдашней позиции Эренбурга можно догадаться, что летчик предлагал быть с немцами помягче.) На диспуте — и вдруг публичный спор! Трибунал, 10 лет и 5 намордника.

В мемуарах Эренбурга не найдешь следа таких пустышных событий. Да он мог и не знать, что спорщика посадили. Он только ответил ему в тот момент достаточно попартийному, потом забыл. Пишет Эренбург, что сам он «уцелел по лотерее». Эх, лотерейка-то была с номерами проверенными. Если вокруг брали друзей, так надо ж было вовремя переставать им звонить. Если дышло поворачивалось, так надо было и вертеться. Ненависть к немцам Эренбург уж настолько калил обезумело, что его Сталин одернул. Ощущая к концу жизни, что ты помогал утверждать ложь, не мемуарами надо было оправдываться, а сегодняшней смелой жертвой.

И. Ф. Липай в своем районе создал колхоз на год раньше, чем это было приказано начальством, — и совершенно добровольный колхоз! Так неужели же уполномоченный ГПУ Овсянников мог эту враждебную вылазку перетерпеть? Не надо мне твоего хорошего, делай мое плохое! Колхоз объявлен был кулацким, а самого Липая, подкулачника, потащили по кочкам . . .

Ф. В. Шавирич, рабочий, на партсобрании сказал вслух о «завещании Ленина». Ну, уж страшней этого и быть ничего не может, это уж — заклятый враг! Какие зубы на следствии сохранились, на Колыме в первый год потерял.

Вот какие ужасные встречались преступники по 58-й статье. А ведь еще бывали злоехидные, с подпольным вывертом. Например, Перец Герценберг, житель Риги. Вдруг переезжает в Литовскую Социалистическую Республику и там записывает себя польского происхождения. А сам — латышский еврей. Ведь здесь что особенно возмутительно: желание обмануть свое родное государство. Это, значит, он рассчитал, что мы его в Польшу отпустим, а оттуда он в Израиль улизнет. Нет уж, голубчик, не хотел в Риге —

ежжай в ГУЛАГ. Измена Родине через намерение, 10 лет.

А какие бывают скрытные! В 1937 среди рабочих завода «Большевик» (Ленинград) обнаружены бывшие ученики ФЗУ, которые в 1929 присутствовали на собрании, где выступал Зиновьев. (Нашлась регистрация присутствующих, приложенная к протоколу.) И 8 лет скрывали, прокрались в состав пролетариата. Теперь все арестованы и расстреляны. По какому-то же делу умудрились посадить трех братьев Старостиных, футболистов, двух братьев Знаменских, бегунов, — не спасла и спортивная знаменитость.

Сказал Маркс: «государство калечит самого себя, когда оно делает из гражданина преступника*». И очень трогательно объяснил, как государство должно видеть в любом нарушителе

еще и человека с горячей кровью, и солдата, защищающего отечество, и члена общины, и отца семейства, «существование которого священо», и самое главное — гражданина. Но нашим юристам читать Маркса некогда, а он, если хочет, пусть наши инструкции почитает.

Воскликнут, что весь этот перечень — чудовищен? несообразен? Что поверить даже нельзя? Что Европа не поверит?

Европа, конечно, не поверит. Пока сама не посидит — не поверит. Она в наши глянцево-журналы поверила, а больше ей в голову не вобрать.

Да и мы лет пятьдесят назад — ни за что б не поверили. Да и сто лет назад бы не поверили.

* * *

В прежней России политические и обыватели были — два противоположных полюса в населении. Нельзя было найти более исключаящих образов жизни и образов мышления.

В СССР обывателей стали грести как «политических».

И оттого политические сравнялись с обывателями.

Половина Архипелага была Пятьдесят Восьмая. А политических — не было... (Если б столько было да настоящих политических — так на какой скамье уже бы давно та власть сидела!)

В эту Пятьдесят Восьмую угрожал всякий, на кого сразу не подбиралась бытовая статья. Шла тут мешанина и пестрота невообразимая.

Например, молодой американец, женившийся на советской и арестованный в первую же ночь, проведенную вне американского посольства (Морис Гершман). Или бывший сибирский партизан Муравьев, известный своими расправами над белыми (мстил за брата), — с 1930 не вылезал из ГПУ (началось из-за золота), потерял здоровье, зубы, разум и даже фамилию (стал — Фокс). Или проворовавшийся советский индентант, бежавший от уголовной кары в западную зону Австрии, но там — вот насмешка! — не нашедший себе применения. Тупой бюрократ, он хотел и там высокого положения, но как его добиться в обществе, где соревнуются таланты? Решил вернуться на родину. Здесь получил

25 по совокупности — за хищение и подозрение в шпионаже. И рад был: здесь дышится привычней!

Примеры такие бессчетны. Зачислить в Пятьдесят Восьмую был простейший из способов похерить человека, убрать быстро и навсегда.

А еще туда же шли и просто семьи, особенно жены, Че-эСы. Сейчас привыкли, что в ЧС забирали жен крупных партийцев, но этот обычай установился поране, так чистили и дворянские семьи, и заметные интеллигентские, и лиц духовных. (И даже в 50-х годах: историк Х-цев за принципиальные ошибки, допущенные в книге, получил 25 лет. Но надо ж дать и жене? Десятку. Но зачем же оставлять мать-старуху в 75 лет и 16-летнюю дочь? — за несение и им. И всех четверых разослали в разные лагеря без права переписки между собой.)

Чем больше мирных, тихих, далеких от политики и даже неграмотных людей, чем больше людей, до ареста занятых только своим бытом, втягивалось в круговорот незаслуженной кары и смерти, — тем серей и робче становилась Пятьдесят Восьмая, теряла всякий и последний политический смысл и превращалась в потерянный стадо потерянных людей.

Но мало сказать, из кого была Пятьдесят Восьмая, — еще важней, как ее содержали в лагере.

Эта публика в первых лет революции

* Маркс и Энгельс. Собр. соч., т. 1, с. 233, изд. 1928.

была обложена вкруговую: режимом и формулировками юристов.

Возьмем ли мы приказ ВЧК № 10 от 8.1.21., мы узнаем, что только рабочего и крестьянина нельзя арестовать без основательных данных — а интеллигента стало быть можно, ну, например, по антипатии. Послушаем ли мы Крыленку на V съезде работников юстиции в 1924, мы узнаем, что «относительно осужденных из классово-враждебных элементов . . . исправление бессильно и бесцельно». В начале 30-х годов нам еще раз напомнят, что сокращение сроков классово-чуждым элементам есть правоопportunистическая практика. И так же «опportunистическая установка, что в тюрьме все равны, что классовая борьба как бы прекращается с момента вынесения приговора, после чего классовый враг начинает «исправляться»».

Если это все вместе собрать, то вот: брать вас можно ни за что, исправлять вас бесцельно, в лагере определим вам положение униженное и дойдем вас там классовой борьбой.

Но как же это понять — в лагере да еще классовая борьба? Ведь действительно, вроде — все арестанты равны. Нет, не спешите, это представление буржуазное! Для того-то и отобрали у политической Статьи право содержаться отдельно от уголовников, чтоб теперь этих уголовников да ей же на шею! (Это те избобретали люди, что в царских тюрьмах поняли силу возможного политического объединения, политического протеста и опасность ее для режима.)

Да вот Ида Авербах тут как тут, она же нам и разъяснит. «Работа по политическому воспитанию и перевоспитанию начинается с классового расслоения заключенных», «опереться на наиболее социально-близкие пролетариату слою»** (а какие ж это — близкие? да «бывшие рабочие», то есть воры, вот их-то и натравить на Пятьдесят Восьмую!) . . . «перевоспитание невозможно без разжигания политических страстей».

Так что когда жизнь нашу полностью отдавали во власть воров — то не был произвол ленивых начальников на глухих лагучастках, то была высокая Теория!

«Классово-дифференцированный

* Сборник «От тюрем . . .», с. 384.

** И. Авербах. От преступления к труду, с. 35.

подход к режиму . . . непрерывное административное воздействие на классово-враждебные элементы» — да влеча свой бесконечный срок, в изорванной телогрейке и с головой потупленной — вы хоть можете себе это вообразить? — непрерывное административное воздействие на вас?!

Все в той же замечательной книге мы читаем даже перечень приемов, как создать Пятьдесят Восьмой невыносимые условия в лагере. Тут не только сокращать ей свидания, передачи, переписку, право жалобы, право передвижения внутри (!) лагеря. Тут и создавать из классово-чуждых отдельные бригады, ставить их в более трудные условия (от себя поясню: обманывать их при замере выполненных работ), а когда они не выполняют норму — объявить это вылазкой классового врага. (Вот и колымские расстрелы целыми бригадами.) Тут и частные творческие советы: кулаков и подкулачников (то есть лучших сидящих в лагере крестьян, во сне видящих крестьянскую работу) — не посылать на сельхозработы! Тут и: высококвалифицированному классово-враждебному элементу (то есть инженерам) не доверять никакой ответственной работы «без предварительной проверки». (Но кто в лагере настолько квалифицирован, чтобы проверить инженеров? очевидно, воровская легкая кавалерия от КВЧ, нечто вроде хунвейбинов.) Этот совет трудно выполним на каналах: ведь шлюзы сами не проектируются, трасса сама не ложится, тогда Авербах просто умоляет: пусть хоть шесть месяцев после прибытия в лагерь специалисты проводят на общих! (А для смерти больше не нужно.) Мол, тогда, живя не в интеллигентском привилегированном бараке, «он испытывает воздействие коллектива», «контрреволюционеры видят, что массы против них и презирают их».

И как удобно, владея классовой идеологией, выворачивать все происходящее. Кто-то устраивает «бывших» и интеллигентов на придурочки посты? — значит, тем самым он «посылает на самую тяжелую работу лагерников из среды трудящихся». Если в каптерке работает бывший офицер и обмундирования не хватает — значит, он «сознательно отказывается». Если кто-то сказал рекордистам: «остальные за вами не угонятся» — значит, он классовый враг! Если вор напился, или бежал, или

украли, — разъясняют ему, что это не он виноват, что это классовый враг его напоял, или подучил бежать, или подучил украсть (интеллигент подучил вора украсть! — это совершенно серьезно пишется в 1936 году). А если сам «чуждый элемент дает хорошие производственные показатели» — это он «делает в целях маскировки»!

Круг замкнут. Работай или не работай, люби нас или не люби — мы тебя ненавидим и воровскими руками уничтожим!

И вздыхает Петр Николаевич Птицын (посидевший по 58-й): «А ведь настоящие преступники не способны к подлинному труду. Именно неповинный человек отдает себя полностью, до последнего вздоха. Вот драма: враг народа — друг народа».

Но — не угодна жертва твоя.

«Неповинный человек!» — вот главное ощущение того эрзаца политических, который нагнали в лагеря. Вероятно, это небывалое событие в мировой истории тюрем: когда миллионы арестантов сознают, что они — правы, все правы и никто не виновен. (С Достоевским сидел на каторге один невинный!)

Однако эти толпы случайных людей, согнанные за проволоку не по закономерности убеждений, а швырком судьбы, отнюдь не укреплялись сознанием своей правоты — оно, может быть, гуще угнетало их нелепостью положения. Больше держась за свой прежний быт, чем за какие-либо убеждения, они отнюдь не проявляли готовности к жертве, ни единства, ни боевого духа. Они еще в тюрьмах целыми камерами доставались на расправу двум-трем сопливым блатным. Они в лагерях уже вовсе были подорваны, они готовы были только гнаться под палкой нарядчика и блатного, под кулаком бригадира, они оставались способны только усвоить лагерную философию (разъединенность, каждый за себя и взаимный обман) и лагерный язык.

Попав в общий лагерь в 1938, с удивлением смотрела Е. Олицкая глазами социалистки, знавшей Соловки и изоляторы, на эту Пятьдесят Восьмую. Когда-то, на ее памяти, политические всем делились, а сейчас каждый жил и жевал за себя, и даже «политические» торговали вещами и пайками! . . .

Политическая шпана — вот как назвала их (нас) Анна Скрипникова. Ей самой еще в 1925 достался этот урок: она по-

жаловалась следователю, что ее однокамерниц начальник Лубянки таскает за волосы. Следователь рассмеялся и спросил: «А вас тоже таскает?» — «Нет, но моих товарищей!» И тогда он внушительно воскликнул: «Ах, как страшно, что вы протестуете! Оставьте эти русские интеллигентские никчемные замашки! Они устарели. Заботьтесь только о себе! — иначе вам плохо придется».

А это ж и есть блатной принцип: тебя не гребут — не подмахвай! Лубянский следователь 1925 года уже имел философию блатного!

Так на вопрос, дикий уху образованной публики: «может ли политический украсть?» — мы встречно удивимся: «а почему бы нет?»

«А может ли он донести?» — «А чем он хуже других?»

И когда по поводу «Ивана Денисовича» мне наивно возражают: как это у вас политические выражаются блатными словами? — я отвечаю: а если на Архипелаге другого языка нет? Разве политическая шпана может противопоставить уголовной шпане свой язык?

Им же и толкуются, что они — уголовные, самые тяжкие из уголовных, а не уголовных у нас и в тюрьму не сажают!

Перешлибли хребет Пятьдесят Восьмой — и политических нет. Влитых в свинское пойло Архипелага, их гнали умереть на работе и кричали им в уши лагерную ложь, что каждый каждому враг!

Еще говорит пословица: возьмет голод — появится голос. Но у нас, но у наших туземцев — не появлялся. Даже от голода.

А ведь как мало, как мало им надо было, чтобы спастись! Только: не дорожить жизнью, уже все равно потерянной, и — сплотиться.

Это удавалось иногда цельным иностранным группам, например японцам. В 1947 году на Ревучий, штрафной лагерь Краснорьских лагерей, привезли около сорока японских офицеров, так называемых «военных преступников» (хотя в чем они провинились перед нами — придумать нельзя). Стояли сильные морозы. Лесоповальная работа, непосильная даже для русских. Отрицаловка* быстро раздела кое-кого

* Отрицаловка: отрицаю все, что требует начальство, — режим и работу. Обычно это — сильное ядро блатных.

из них, несколько раз уперла у них весь лоток с хлебом. Японцы в недоумении ожидали вмешательства начальства, но начальство, конечно, и внимания не обращало. Тогда их бригадир полковник Кондо с двумя офицерами, старшими по званию, вошел вечером в кабинет начальника лагпункта и предупредил (русским языком они прекрасно владели), что если произвол с ними не прекратится, то завтра на заре двое офицеров, изъявивших желание, сделают хакари. И это — только начало. Начальник лагпункта (дубина Егоров, бывший комиссар полка) сразу смекнул, что на этом можно погореть. Двое суток японскую бригаду не выво-

дили на работу, нормально кормили, потом увезли со штрафного.

Как же мало нужно для борьбы и победы — только жизнью не дорожить? жизнью-то все равно уже пропащей.

Но, постоянно перемешивая с блатными и бытовиками, нашу Пятьдесят Восьмую никогда не оставляли одну, — чтоб не посмотрели друг другу в глаза и не осознали бы вдруг — кто мы. А те светлые головы, горячие уста и твердые сердца, кто мог бы стать тюремными и лагерными вожаками, — тех давно по спецпометкам на делах — отделили, заткнули кляпами рты, спрятали в специзоляторах, расстреляли в подвалах.

* * *

Однако, по важной особенности жизни, замеченной еще в учении Дао, мы должны ожидать, что когда не стало политических — тогда-то они и появились.

Я рискну теперь высказать, что в советское время истинно-политические не только были, но:

1. Их было больше, чем в царское время, и
2. Они проявили стойкость и мужество, чем прежние революционеры.

Это покажется в противоречии с предыдущим, но — нет. Политические в царской России были в очень выгодном положении, очень на виду — с мгновенными отголосками в обществе и прессе. Мы уже видели (часть первая, гл. 12), что в Советской России социалистам пришлось несравнимо трудней.

Да не одни ж социалисты были теперь политические. Только сплеснутые ушатами в пятнадцатимиллионный уголовный океан, они невидимы и неслышимы были нам. Они были — немые. Немее всех остальных. Рыбы — их образ.

Рыбы, символ древних христиан. И христиане же — их главный отряд. Корявые, малограмотные, не умеющие сказать речи с трибуны, ни составить подпольного воззвания (да им по вере это и не нужно), они шли в лагерь на мучение и смерть — только чтоб не отказаться от веры! Они хорошо знали, за что сидят, и были неколебимы в своих убеждениях! Они единственные, может быть, к кому совсем не пришла лагерная философия и даже язык.

Это ли не политические? Нет уж, их шпаной не назовешь.

И женщин среди них — особенно много. Говорит Дао: когда рушится вера — тогда-то и есть подлинно-верующие. За просвещенным зубоскальством над православными батюшками, мяуканьем комсомольцев в пасхальную ночь и свистом блатных на пересылках, — мы проглядели, что у грешной православной церкви выросли все-таки дочери, достойные первых веков христианства, — сестры тех, кого бросали на арены ко львам.

Христиан было множество, этапы и могильники, этапы и могильники, — кто сочтет эти миллионы? Они погибли безвестно, освещая, как свеча, только в самой близости от себя. Это были лучшие христиане России. Худшие все — дрогнули, отреклись или перетаились.

Так это ли — не больше? Разве когда-нибудь царская Россия знала столько политических? Она и считать не умела в десятках тысяч.

Но так чисто, так без свидетелей сработано удушение, что редко выплывет нам рассказ об одном или другом.

Архирей Преображенский (лицо Толстого, седая борода). Тюрьма-ссылка-лагерь, тюрьма-ссылка-лагерь (Большой Пасьянс). После такого многолетнего изнурения в 1943 вызван на Лубянку (по дороге блатные сняли с него камилавку). Предложено ему — войти в Синод. После стольких лет, кажется, можно бы себе разрешить отдохнуть от тюрьмы? Нет, он отказывается: это — не чистый Синод, не чистая церковь. И — снова в лагерь.

А Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877—1961), епископ Лука и автор знаменитой «Гнойной хирургии»? Его жизнеописание, конечно, будет составлено, и не нам здесь писать о нем. Этот человек избивал талантами. До революции он уже прошел по конкурсу в Академию художеств, но оставил ее, чтобы лучше служить человечеству — врачом. В госпиталях первой мировой войны он выдвинулся как искусный хирург-глазник, после революции вел ташкентскую клинику, весьма популярную по всей Средней Азии. Гладчайшая карьера развертывалась перед ним, какой и шли наши современные преуспевающие знаменитости, — но Войно-Ясенецкий ощутил, что служение его недостаточно, и принял сан священника. В операционной он повесил икону и читал студентам лекции в рясе с наперсным крестом (1921). Еще патриарх Тихон успел назначить его ташкентским епископом. В 20-е годы Войно-Ясенецкий сослан был в Туруханский край, хлопотами многих возвращен, но уже заняты были и его врачебная кафедра и его епархия. Он часто практиковал (с дочечкою «епископ Лука»), валили валом больные (и кожаные куртки тайком), а избытки средств раздавал бедным.

Примечательно, как его убрали. Во вторую ссылку (1930, Архангельск) он послан был не по 58-й статье, а — «за подстрекательство к убийству» (вздорная история, будто он влиял на жену и тещу покончившего с собой физиолога Михайловского, уже в безумии шприцевавшего трупы растворами, остававляющими разложение, а газеты шумели о «триумфе советской науки» и рукоотворном «воскрешении»). Этот административный прием заставляет нас еще менее формально уразуметь, что же такие истинно-политические. Если не борьба с режимом, то нравственное или жизненное противостояние ему — вот главный признак. А прилепка «статьи» не говорит ни о чем. (Многие сыновья раскулаченных получали воровские статьи, но выявляли себя в лагерях истинно-политическими.)

В архангельской ссылке Войно-Ясенецкий разработал новый метод лечения гнойных ран. Его вызывали в Ленинград, и Киров уговаривал его снять сан, после чего тут же представлял ему институт. Но упорный епископ не согласился даже на печатание своей книги

без указания в скобках сана. Так без института и без книги он окончил ссылку в 1933, воротился в Ташкент, там получил третью ссылку в Красноярский край. С начала войны он работал в сибирских госпиталях, применил свой метод лечения гнойных ран — и это привело его к Сталинской премии. Он согласился получать ее только в полном епископском облачении! (На вопросы о его биографии студентам мединститутотв отвечают сегодня: «о нем нет никакой литературы».)

А инженеры? Сколькие среди них, не подписавшие глупых и гнусных признаний во вредительстве, рассеяны и расстреляны? И какой звездой блещет среди них Петр Акимович Пальчинский (1875—1929)! Это был инженер-ученый с широтой интересов поразительной. Выпускник (1900) Горного института, выдающийся горняк, он, как мы видим из списка его трудов, изучал и оставил работы по общим вопросам экономического развития, о колебаниях промышленных цен, об экспорте угля, об оборудовании и работе торговых портов Европы, экономических проблемах портового хозяйства, о технике безопасности в Германии, о концентрации в германской и английской горной промышленности, о горной экономике, о восстановлении и развитии промышленности стройматериалов в СССР, об общей подготовке инженеров в высших школах — и сверх того работы по собственно-горному делу, описание отдельных районов и отдельных месторождений (и еще не все работы известны нам сейчас). Как Войно-Ясенецкий в медицине, так горя бы не знал и Пальчинский в своем инженерном деле; но как тот не мог не содействовать вере, так этот не мог не вмешаться в политику. Еще студентом Горного института Пальчинский числился у жандармов «вожаком движения», в 1900 председательствовал на студенческой сходке. Уже инженером в 1905 в Иркутске занимал видное место в революционных волнениях и был по «делу об Иркутской республике» осужден на каторжные работы. Он бежал, уехал в Европу. Годы эмиграции он совершенствовался по нескольким инженерным профилям, изучил европейскую технику и экономику, но не упускал из виду и программу народных изданий «для проведения анархистских идей в массах». В 1913, амнистированный и возвращаясь в Россию, он писал Кро-

поткин: «в виде программы своей деятельности в России я поставил... всюду, где был бы в состоянии, принять участие в развитии производительных сил страны вообще и в развитии общественной самостоятельности в самом широком смысле этого слова»*. В первый же выезд крупных русских центров ему наперебой предлагали баллотироваться в управляющие делами совета съезда горнопромышленников, предоставляли «блестящие директорские места в Донбассе», консультантские посты при банках, чтение лекций в Горном институте, пост директора Горного департамента. Мало было в России работников с такой энергией и такими широкими знаниями.

И какая же судьба ждала его дальше? Уже упоминалось (часть первая, гл. 10), что он стал в войну товарищем председателя Военно-Промышленного комитета, а после Февральской революции — товарищем министра торговли и промышленности. Как самый, очевидно, энергичный из членов безвольного Временного правительства, Пальчинский побыл даже генерал-губернатором Петрограда, в октябрьские дни — начальником обороны Зимнего дворца. Немедленно же он был посажен в Петропавловку, просидел там 4 месяца, правда отпущен. В июне 1918 снова арестован без предъявления какого-либо обвинения. 6 сентября 1918 включен в список 122 видных заложников («если... будет убит еще хоть один из советских работников, нижеперечисленные заложники будут расстреляны», ПетроЧК, председатель Г. Бокий, секретарь А. Иоселевич**). Однако не был расстрелян, а в конце 1918 даже и освобожден из-за неуместного вмешательства швейцарского социал-демократа Карла Моора (изумленного, каких людей мы гноим в тюрьме). С 1920 он — профессор Горного института, навещает и Кропоткина в Дмитрове, после скорой его смерти создает комитет по (неудавшемуся) увековечению его памяти — и вскоре же, за это или не за это, снова посажен. В архиве сохранился любопытный документ об освобождении Пальчинского из этого третьего советского заключения — письмо в Московский Ревтрибунал от 16 января 1922:

* Письмо Кропоткину 20.2.1913, ЦГАОР, ф. 1129, оп. 2, ед. хр. 1936.

** «Петроградская правда» 6.9.18, № 193.

«Ввиду того, что постоянный консультант Госплана инженер П. А. Пальчинский 18 января с. г. в три часа дня выступает в качестве докладчика в Южбюро по вопросу о восстановлении южной металлургии, имеющей особо важное значение в настоящий момент, президиум Госплана просит Ревтрибунал освободить тов. Пальчинского к указанному выше часу для исполнения возложенного на него поручения.

Пред. Госплана
Кржижановский*».

Просит (и довольно бесправно). И только потому, что южная металлургия — «особо важное значение в настоящий момент»... и только — «для исполнения поручения», а там — хоть пропади, хоть забирайте в камеру назад.

Нет, Пальчинскому дали еще поработать над восстановлением горной добычи в СССР. После героической тюремной стойкости его расстреляли без суда только в 1929 году.

Надо совсем не любить свою страну, надо быть ей чужаком, чтобы расстреливать гордость нации — ее сгущенные знания, энергию и талант!

Да не то же ли самое и через 12 лет с Николаем Ивановичем Вавиловым? Разве Вавилов — не подлинный политический (по горькой нужде)? За 11 месяцев следствия он перенес 400 допросов. И на суде (9 июля 1941) не признал обвинений!

А безо всякой славы мировой — гидротехник профессор Родионов (о нем рассказывает Витковский). Попав в заключение, он отказался работать по специальности — хотя это самый легкий был для него путь. И тачал сапоги. Разве это — не подлинный политический? Он был мирный гидротехник, он не готовился к борьбе, но если против тюремщиков он уперся в своих убеждениях — разве он не истый политический? Какая ему еще партийная книжка?

Как внезапно звезда ярчеет в сотни раз — и потухает, так человек, не расположенный быть политическим, может дать короткую сильную вспышку в тюрьме и за нее погибнуть. Обычно мы не узнаем этих случаев. Иногда о них расскажет свидетель. Иногда

* ЦГАОР, ф. 3348, ед. хр. 167, лист. 32.

лежит блеклая бумажка и по ней можно строить только предположения:

Яков Ефимович Почтарь, рожд. 1887, беспартийный, врач. С начала войны — на 45-й авиабазе Черноморского флота. Первый приговор военного трибунала Севастопольской базы (17 ноября 1941) — 5 лет ИТЛ. Кажется, очень благополучно. Но что это? 22 ноября — второй приговор: расстрел. И 27 ноября расстрелян. Что произошло в роковые пять дней между 17-м и 22-м? Вспыхнул ли он, как звезда? Или просто судьи спохватились, что мало? (По первому делу он теперь реабилитирован. Значит, если бы не второе . . . ?)

А троцкисты? Чистокровные политические, этого у них не отнять.

(Мне кричат! мне колокольчиком звонят: станьте на место! Говорите о единственных политических! — о несокрушимых коммунистах, кто и в лагере продолжал свято верить . . . — хорошо, отведем им следующую отдельную главу.)

Историки когда-нибудь исследуют: с какого момента у нас потекла струйка политической молодежи? Мне кажется, с 43—44 года (я не имею в виду молодежи социалистов и троцкистов). Почти школьники (вспомним «демократическую партию» 1944 года) вдруг задумали искать платформу, отдельную от той, что им усиленно предлагают, подсовывают под ноги. Ну, кем же их еще назвать?

Только мы и о них ничего не знаем и не узнаем.

А если 22-летний Аркадий Белинков сидится в тюрьму за свой первый роман «Черновик чувств» (1943), ненапечатанный, конечно, а потом в лагере пишет еще (но на грани умирания доверяет стукачу Кермайеру и получает новый срок), — неужели мы откажем ему в звании политического?

В 1950 году студенты ленинградского механического техникума создали партию с программой и уставом. Многих расстреляли. Рассказал об этом Арон Левин, получивший 25 лет. Вот и все, придорожный столбик.

А что нашим современным политическим нужны стойкость и мужество несравненно большие, чем прежним революционерам, это и доказывать не надо. Прежде за большие действия присуждались легкие наказания, и революционеры не должны были быть уж так смелы: в случае провала они риско-

вали только собой (не семьей!), и даже не головой, а — небольшим сроком.

Что значило до революции расклеить листовки? Забава, все равно что голубей гонять, не получишь и трех месяцев срока. Но когда пять мальчиков группы Владимира Гершуни готовят листовки: «наше правительство скомпрометировало себя», — на это нужна примерно та же решимость, что пяти мальчикам группы Александра Ульянова для покушения на царя.

И как это самовозгорается, как это пробуждается само в себе! В городе Ленинске-Кузнецке — единственная мужская школа. С 9-го класса пятеро мальчиков (Миша Бакст, их комсорг; Толя Тарантин, тоже комсомольский активист; Велвел Рейхтман, Николай Конев и Юрий Анкианов) теряют беззаботность. Они не терзаются девочками, ни новыми танцами, они оглядываются на дикость и пьянство в своем городе и долбят, и листают свой учебник истории, пытаюсь как-то связать, сопоставить. Перейдя в 10-й класс, перед выборами в местные Советы (1950 год), они печатными буквами выводят свою первую (и последнюю) простоватую листовку:

«Слушай, рабочий! Разве мы живем сейчас той жизнью, за которую боролись и умирали наши деды, отцы и братья? Мы работаем — а получаем жалкие гроши, да и те зажимают . . . Почитай и подумай о своей жизни . . .»

Они сами тоже только думают — и поэтому ни к чему не призывают. (В плане у них был — цикл таких листовок и сделать гектограф самим.)

Клеили так: шли ночью по городу гурьбой, один налеплял четыре комка хлебного мякиша, другой — на них листовку.

Ранней весной к ним в класс пришел новый какой-то педагог и предложил . . . заполнить анкеты печатным почерком*. Умоляя директор не арестовывать их до конца учебного года. Сидя уже под следствием, мальчишки больше всего жалели, что не побывают на собственном выпускном вечере. «Кто руководил вами, создайтесь!» (Не могли поверить гебисты, что у мальчиков открылась простая совесть — ведь слу-

* Продал ребят Федор Полотнянников, позже парторг польсаевской шахты. Страна должна знать своих стукачей.

чай невероятный, ведь жизнь дана один раз, зачем же задумываться?) Карцеры, ночные допросы, стояния. Закрытое (уж конечно) заседание Облсуда. (Судья — Пушкин, вскоре осужденный за взятки.) Жалкие защитники, растерянные заседатели, грозный прокурор Трутнев (!). Всем — по 10 и по 8 лет, и всех, семнадцатилетних, — в Особлаги.

Нет, не врет старая поговорка: смелого ищи в тюрьме, глупого — в политруках!

Я пишу за Россию безязыкую, и потому мало скажу о троцкистах: они все люди письменные, и кому удалось уцелеть, те уж наверно приготовили подробные мемуары и опишут свою драматическую эпопею полной и точней, чем смог бы я.

Но кое-что для общей картины.

Они вели регулярную подпольную борьбу в конце 20-х годов с использованием всего опыта прежних революционеров, только ГПУ, ставшее против них, не было таким лопухом, как царская охранка. Не знаю, готовились ли они к той тотальной гибели, которую определил им Сталин, или еще думали, что кончится шутками и примирением. Во всяком случае, они были мужественные люди. (Опасаясь, впрочем, что, придя к власти, они принесли бы нам безумие не лучшее, чем Сталин.) Заметим, что и в 30-х годах, когда уже подходило им под шею, они считали для себя всякий контакт с социалистами — изменой и позором, и поэтому в изоляторах держались отчужденно, даже не передавали через себя тюремную почту социалистов (ведь они считали себя ленинцами). Жена И. Н. Смирнова (уже после его расстрела) избегала общаться с социалистами, «чтобы не видел надзор» (то есть как бы — глаза компартии)!

Такое впечатление (но не настаиваю), что в их политической «борьбе» в лагерных условиях была излишняя суетливость, отчего появился оттенок трагического комизма. В телячьих эшелонах от Москвы до Колымы они договаривались «о нелегальных связях, паролях» — а их рассовали по разным лагпунктам и разным бригадам.

Вот бригаду КРТД, честно заслужившую производственный паек, внезапно переводят на штрафной. Что делать? «Хорошо законспирированная комчейка» обсуждает. Забастовать? Но это значило бы клюнуть на провокацию.

Нас хотя вызвать на провокацию, а мы — мы гордо выйдем на работу и без пайка! Выйдем, а работать будем по-штрафному. (Это — 37 год, и в бригаде — не только «чистые» троцкисты, но и зачисленные как троцкисты «чистые» ортодоксы, эти подали заявления в ЦК на имя товарища Сталина, в НКВД на имя товарища Ежова, в ЦИК на имя товарища Калинина, в генеральную прокуратуру, и им крайне нежелательно теперь ссориться с лагерным начальством, от которого будут зависеть сопровождающие характеристики.)

На присиске Утиный они готовятся к XX годовщине Октября. Подбирают черные тряпки или древесным углем красят белые. Утром 7 ноября они намерены на всех палатках вывесить черные траурные флаги, а на разводе петь «Интернационал», крепко взявшись за руки и не впуская в свои ряды конвойных и надзирателей. Допеть, несмотря ни на что! После этого ни за что не выходить из зоны на работу! Выкрикивать лозунги: «Долой фашизм!» «Да здравствует ленинизм!» «Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!»

В этом замысле смешан какой-то надрывный энтузиазм и бесплодность, становящаяся смешной...

Впрочем, на них или из них же кто-то стучит, их всех накануне, 6 ноября, увозят на присис Юбилейный и там изолируют на праздники. Из закрытых палаток (откуда им запрещено выходить) они поют «Интернационал», а работники Юбилейного тем временем выходят на работу. (Да и среди поющих раскол: тут есть и несправедливо посаженные коммунисты, они отходят в сторону, «Интернационала» не поют, показывая молчанием свою правоту.)

«Если нас держат за решеткой, значит, мы еще чего-нибудь стоим», — утешался Александр Боярчиков. Ложное утешение. А кого не держали?..

Самым крупным достижением троцкистов в лагерной борьбе была их голодовка-забастовка по всей воркутинской линии лагерей. (Перед тем еще где-то на Колыме, кажется, 100-дневная: они требовали вместо лагерей вольного поселения, и выиграли — им обещали, они сняли голодовку, их рассредоточили по разным лагерям и постепенно уничтожили.) Сведения о воркутинской голодовке у меня противоречивые. Примерно вот так.

Началась 27 октября 1936 года и продолжалась 132 дня (их искусственно питали, но они не снимали голодовки). Было несколько смертей от голода. Их требования были:

— отъединение политических от уголовных*;

— восьмичасовой рабочий день;

— восстановить политпаек (то есть добавочное питание по сравнению с остальными, уж это — только для себя), питание независимо от выработки;

— уничтожение Особого совещания, аннулирование его приговоров.

Их кормили через кишку, а потом распустили по лагерям слух, что не стало сахара и масла, «потому что скормили троцкистам», — прием, достойный голубых фуражек! В марте 1937 пришла телеграмма из Москвы: требования голодающих полностью приняты! Голодовка закончилась. Беспомощные лагерники, как они могли добиться исполнения? А их обманули — не выполнили ни одного. (Западному человеку ни поверить, ни понять нельзя, чтобы так можно было сделать. А у коммунистов — так.) Напротив, всех участников голодовки стали пропускать через оперчекотделы и предъявляли обвинение в продолжении контрреволюционной деятельности.

Великий сыч в Кремле уже обдумывал свою расправу над ними.

Чуть позже на Воркуте на 8-й шахте была еще крупная голодовка (а может — это часть предыдущей). Здесь участвовало 170 человек, некоторые из них известны поименно: староста голодовки Михаил Шапиро, бывший рабочий Харьковского ВЭФ; Дмитрий Кури-

* Включали ли они в эти политических остальную Пятьдесят Восьмую, кроме себя? Вероятно, нет: не могли же они казров признать за братьев, если даже социалистов отвергли!

невский из киевского обкома комсомола; Иванов — бывший командир эскадры сторожевых кораблей в Балтфлоте; Орлов-Каменецкий; Михаил Андреевич; Полевой-Генкин; В. В. Веррап, редактор тбилисской «Зари Востока»; Сократ Гевержян, секретарь ЦК Армении; Григорий Золотников, профессор истории; его жена.

Ядро головки сложилось из 60 человек, в 1927—1928 сидевших вместе в Верхнеуральском изоляторе. Большой неожиданностью — приятной для голодающих и неприятной для начальства — было присоединение к голодовке еще и двадцати уроков во главе с паханом по кличке Москва (в том лагере он был известен своей ночной выходкой: забрался в кабинет начальника лагеря и оправился на его столе. Нашему бы брату — расстрел, ему — только укоризна: наверно, классовый враг подучил?). Эти-то двадцать бластных только и огорчали начальство, а «голодовочному активу» социально-чуждых начальник оперчекотделского отдела Воркутлага Узков говорил, издеваясь:

— Думаете, Европа про вашу голодовку узнает? Чихали мы на Европу!

И был прав. Но социально-близких бандитов нельзя было ни бить, ни дать им умереть. Впрочем, после половины голодовки добрались до их люмпен-пролетарского сознания, они откололись, и пахан Москва по лагерному радио объявил, что его попутали троцкисты.

После этого судьба оставшихся была — расстрел. Они сами своей голодовкой подали заявку и список.

Нет, политические истинные — были. И много. И — жертвенны.

Но почему так ничтожны результаты их противостояния? Почему даже легких пузырей они не оставили на поверхности?

Разберем и это. Позже.

Глава 11

БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ

Но я слышу возмущенный гул голосов. Терпение товарищей иссякло! Мою книгу захопывают, отшвыривают, заплывают:

— В конце концов это наглость! Это клевета! Где он ищет настоящих политических? О ком он пишет? О каких-то попах, о технократах, о каких-то школь-

никах сопляках... А подлинные политические — это мы! Мы, непоколебимые! Мы, ортодоксальные, кристальные (Оруэлл назвал их благомыслими). Мы, оставшиеся и в лагерях до конца преданными единственно-верному...

Да уж судя по нашей печати — одни только вы вообще и сидели. Одни

только вы и страдали. Об одних вас и лагерь разрешено. Ну, давайте.

Согласится ли читатель с таким критерием: политзаключенные — это те, кто знает, за что сидит, и тверды в своих убеждениях?

Если согласится, так вот и ответ: наши непоколебимые, кто, несмотря на личный арест, остался предан единственно-верному и т. д., — тверды в своих убеждениях, но не знают, за что сидят! И потому не могут считаться политзаключенными.

Если мой критерий не хорош, возьмем критерий Анны Скрипниковой, за пять своих сроков она имела время его обдумать. Вот он: «политический заключенный это тот, у кого есть убеждения, отречением от которых он мог бы получить свободу. У кого таких убеждений нет — тот политическая шпана».

По-моему, неплохой критерий. Под него подходят гонимые за идеологию во все времена. Под него подходят все революционеры. Под него подходят и «монашки», и архиерей Преображенский, и инженер Пальчинский, а вот ортодоксы — не подходят. Потому что: где ж те убеждения, от которых их понуждают отречься?

Их нет. А значит, ортодоксы, хоть это и обидно вымолвить, подобно тому портному, глухонемому и клубному сторожу, попадают в разряд беспомощных, непонимающих жертв. Но — с гономом.

Будем точны и определим предмет. О ком будет идти речь в этой главе?

Обо всех ли, кто, вопреки своей посадке, издевательскому следствию, незаслуженному приговору и потом выжигающему лагерному бытию, — вопреки всему этому сохранил коммунистическое сознание?

Нет, не обо всех. Среди них были люди, для которых эта коммунистическая вера была внутренней, иногда единственным смыслом оставшейся жизни, но:

— они не руководствовались ею для «партийного» отношения к своим товарищам по заключению, в камерных и барачных спорах не кричали им, что те посажены «правильно» (а я, мол, — неправильно);

— не спешили заявить гражданину начальнику (и оперуполномоченному) «я — коммунист», не использовали эту формулу для выживания в лагере;

— сейчас, говоря о прошлом, не видят главного и единственного произвола лагерей в том, что сидели коммунисты, а на остальных наплевать.

Одним словом, именно те, для кого коммунистические их убеждения были интимны, а не постоянно на языке. Как будто это — индивидуальное свойство, а не: такие люди обычно не занимали больших постов на воле, и в лагере — простые работяги.

Вот например Авенир Борисов, сельский учитель: «Вы помните нашу молодость (я — с 1912), когда герком блаженства для нас был зеленый из грубого полотна костюм «юнгштурма» с ремнем и портупеей, когда мы плевали на деньги, на все личное и готовы были пойти на любое дело, лишь бы звали*». В комсомоле я с тринадцати лет. И вот, когда мне было всего двадцать четыре, органы НКВД предъявили мне чуть ли не все пункты 58-й статьи». (Мы еще узнаем, как он ведет себя на воле, это достойный человек.)

Или Борис Михайлович Виноградов, с которым мне довелось сидеть. В юности он был машинистом (не год один, как бываю пастухами иные депутаты), после рабфака и института стал инженером-путейцем (и не на партерную сразу, как опять же бывает), хорошим инженером (на шарашке он вел сложные газодинамические расчеты турбины реактивного двигателя). Но к 1941 году, правда, угодил быть парторгом МИИТа. В панические (16-го и 17-го) октябрьские дни 1941 года, добиваясь указаний, он звонил — телефоны молчали, он ходил и обнаружил, что никого нет в райкоме, в горкоме, в обкоме, всех сдуло как ветром, палаты пусты, а выше он, кажется, не ходил. Воротился к своим и сказал: «Товарищи! Все руководители бежали. Но мы — коммунисты, будем обороняться сами!» И оборонялись. Но вот за это «все бежали» — те, кто бежал, его, не бежавшего, и убрали в тюрьму на 8 лет (за «антисоветскую агитацию»). Он был тихий труженик, самоотверженный друг и только в задушевной беседе открывал, что верил, верит и будет верить. Никогда этим не козырял.

Или вот геолог Николай Каллистратович Говорко, который, будучи воркутинским доходайгой, сочинил «Оду

* Курсив на всякий случай мой. — А. С.

Сталину» (и сейчас сохранилась), но не для опубликования, не для того, чтобы через нее получить льготы, а потому что лилась из души. И прятал эту оду на шахте (хотя зачем было прятать?).

Иногда такие люди сохраняют убежденность до конца. Иногда (как Ковач, венгр из Филадельфии, в составе 39 семей приехавший создавать коммуну под Каховкой, посаженный в 1937) после реабилитации не принимают партбилета. Некоторые срываются еще раньше, как опять же венгр Сабо, командир сибирского партизанского отряда в гражданскую войну. Тот еще в 1937 в тюрьме заявил: «был бы на свободе — собрал бы сейчас своих партизан, поднял бы Сибирь, пошел на Москву и разогнал бы всю сволочь».

Так вот, ни первых, ни вторых мы в этой главе не разбираем. (Да кто сорвался, как эти два венгра, — тех сами ортодоксы отсюда отчислят.)

Не будем рассматривать здесь и анекдотических персонажей — кто в тюремной камере лишь притворяется ортодоксом, чтобы насадка «хорошо» донес о нем следователю; как Подварков-сын, на воле расклеивавший листовки, а в Спасском лагере громко споривший со всеми недоброжелателями режима, в том числе и со своим отцом, рассчитывая так облегчить свою судьбу.

Мы будем рассматривать здесь именно тех ортодоксов, кто выставлял свою идеологическую убежденность сперва следователю, потом в тюремных камерах, потом в лагере всем и каждому, и в этой окраске вспоминает теперь лагерное прошлое.

По странному отбору это уже будут совсем не работяги. Такие обычно до ареста занимали крупные посты, завидное положение, и в лагере им большей всего было бы согласиться быть уничтоженными, они яростней всего выбивались приподняться от всеобщего ноля. Тут — и все попавшие за решетку следователи, прокуроры, судьи и лагерные распорядители. И все теоретики, начетчики и громогласные (писатели Г. Сербрякова, Б. Дьяков, Алдан-Семенов отнесутся сюда же, никуда больше).

Поймем их, не будем зубоскалить. Им было больно падать. «Лес рубят — щепки летят» — была их оправдательная бодрая поговорка. И вдруг они сами отрубались в эти щепки.

Прохоров-Пустовер описывает сцену на Манзовке (особый пункт БАМлага) в начале 1938. На удивление всем туземцам, привезли какой-то небывалый «особый контингент» и с большой секретностью его отделяли от прочих. Такого поступления еще никто никогда не видел: приехавшие были в кожаных пальто, меховых «москвичках», в бостонных и шевитовых костюмах, модельных ботинках и полуботинках (к 20-летию Октября эта отборная публика уже нашла вкус в одежде, недоступной рабочему люду). От дурной распорядительности или в издевку им не выдали рабочей одежды, а так и погнали в шевито и хrome рыть траншеи в жидкой глине по колено. На стыке тачечного хода один ээк опрокинул танку с цементом, и цемент вывалился. Подбежал бригадир-урка, материл и в спину толкал виновного: «Руками подбирай, растяпа!» Тот вскричал истерически: «Как вы смеете издеваться! Я бывший прокурор республики!» И крупные слезы катились по его лицу. «Да на . . . мне, что ты — прокурор республики, стерва! Мордой тебя в этот цемент, вот и будешь прокурор! Теперь ты — враг народа и обязан вкалывать!» (Впрочем, прораб заступился за прокурора.)

Расскажите нам такую сценку с прокурором царского времени в концлагере 1918 года — никто не шевельнется его пожалеть: признано единодушно, что то были не люди (они и сроки требовали своим подсудимым год, три, пять). А своего, советского, пролетарского прокурора, хоть и в бостонном костюме, — как не пожалеть, (Он и требовал — червонец да вышку.)

Сказать, что им было больно — это почти ничего не сказать. Им — неместимо было испытать такой удар, такое крушение — и от своих, от родной партии, и по видимости — ни за что. Ведь перед партией они ни в чем не были виноваты, перед партией — ни в чем.

Настолько это было болезненно для них, что среди них считалось запретным, нетоварищеским задать вопрос: «за что тебя посадили?» Единственное такое щепетильное арестантское поколение! — мы-то, в 1945, язык вывала, как анекдот первому встречному и на всю камеру рассказывали о своих посадах.

Это вот какие были люди. У Ольги Слюзберг уже арестовали мужа и пришли делать обыск и брать ее самою.

Четыре часа шел обыск — и эти четыре часа она приводила в порядок протоколы съезда стахановцев щетинно-щеточной промышленности, где она была секретарем за день до того. Неготовность протоколов больше беспокоила ее, чем оставляемые навсегда дети! Даже следователь, руководивший обыском, не выдержал и посоветовал ей: «да проститесь вы с детьми!»

Это вот какие были люди. К Елизавете Цветковой в казанскую отсидочную тюрьму в 1938 пришло письмо пятнадцатилетней дочери: «Мама! Скажи, напиши — виновата ты или нет? . . . Я лучше хочу, чтоб ты была не виновата, и я тогда в комсомол не вступлю и за тебя не прощу. А если ты виновата — я тебе больше писать не буду и буду тебя ненавидеть». И угрызается мать в сырой гробовидной камере с подследственной лампочкой: как же дочери жить без комсомола? как же ей ненавидеть советскую власть? Уж лучше пусть ненавидит меня. И пишет: «Я виновата . . . Вступай в комсомол».

Еще бы не тяжело! да переносимо человеческому сердцу: попал под родной топор — оправдывать его разумность.

Но столько платит человек за то, что душу, вложенную Богом, вверяет человеческой догме.

Любой ортодокс и сейчас подтвердит, что правильно поступила Цветкова. Их и сегодня не убедить, что вот это и есть «сворачивание малых сих», что мать свратила дочь и повредила ее душу.

Это вот какие были люди: Е. Т. давала искренние показания на мужа — лишь бы помочь партии!

О, как можно было бы их пожалеть, если бы хоть сейчас они поняли свою тогдашнюю жалкость!

Всю главу эту можно было бы писать иначе, если бы хоть сегодня они растались со своими тогдашними взглядами! Но сбилось по мечте Марии Даниэлян: «если когда-нибудь выйду отсюда — буду жить, как будто ничего не произошло».

Верность? А по-нашему: хоть кол на голове теши. Эти адепты теории развития увидели верность свою развитию в отказе от всякого собственного развития. Как говорит Николай Адамович Виленчик, просидевший 17 лет: «Мы верили партии — и мы не ошиблись!» Верность — или кол теши?

Нет, не для показа, не из лицемерия спорили они в камерах, защищая все

действия власти. Идеологические споры были нужны им, чтоб удержаться в сознании правоты — иначе ведь и до сумасшествия недалеко.

Как можно было бы им всем почувствовать! Но так хорошо все видят они, в чем пострадали, — не видят, в чем виноваты.

Этих людей не брали до 1937 года. И после 1938 их очень мало брали. Поэтому их называют «набор 37 года», и так можно было бы, но чтоб это не затемняло общую картину, что даже в месяцы пик сажали не их одних, а все те же тянулись мужички, и рабочие, и молодежь, инженеры и техники, агрономы и экономисты, и просто верующие.

«Набор 37 года», очень говорливый, имеющий доступ к печати и радио, создал «легенду 37 года», легенду из двух пунктов:

- 1) если когда при советской власти сажали, то только в 37-м, и только о 37-м надо говорить и возмущаться;
- 2) сажали в 37-м — только их.

Так и пишут: страшный год, когда сажали преданнейшие коммунистические кадры: секретарей ЦК союзных республик, секретарей обкомов, председателей облисполкомов, всех командующих военными округами, корпусами и дивизиями, маршалов и генералов, областных прокуроров, секретарей райкомов, председателей райисполкомов . . .

В начале нашей книги мы уже дали объем потоков, лившихся на Архипелаг два десятилетия до 37 года. Как долго это тянулось! И сколько это было миллионов! Но ни ухом ни рылом не вел будущий набор 37 года, они находили все это нормальным. В каких выражениях они обсуждали это друг с другом, мы не знаем, а П. П. Постышев (эмиссар Сталина при Украинском ЦК), не ведая, что и сам обречен на то же, выражался так:

в 1931 на совещании работников юстиции: «. . . сохраняя во всей суровости и жестокости нашу карательную политику в отношении классового врага и деклассированных выходцев» (эти выходцы деклассированные чего стоят! кого нельзя загнать под «деклассированного выходца»?);

в 1932: «Понятно, что . . . проведя их через горнило раскулачивания . . . мы ни в коем случае не должны забывать,

что этот вчерашний кулак морально не разоружился . . .»;

и еще как-то: «Ни в коем случае не притуплять острие карательной политики!»

А острие-то какое острое, Павел Петрович! А горнило-то какое горячее!

Р. М. Гер объясняет так: «Пока аресты касались людей, мне незнакомых или малознакомых, у меня и моих знакомых не возникало сомнения в обоснованности (!) этих арестов. Но когда были арестованы близкие мне люди и я сама, и встретилась в заключении с десятками преданнейших коммунистов, то . . .»

Одним словом, они оставались спокойны, пока сажали общество. «Вскипел их разум возмущенный», когда стали сажать их сообщество. Сталин нарушил табу, которое казалось твердо установленным, и потому так весело было жить.

Конечно, ошеломиться! Конечно, диковато было это воспринять! В камерах спрашивали вгоряче:

— Товарищи! Не знаете? — чей певорот? Кто захватил власть в городе?

И долго еще потом, убедясь в бесповоротности, вздыхали и стонали: «Был бы жив Ильич — никогда бы этого не было!»

(А чего этого? Разве не это же было раньше с другими? — см. часть первая, гл. 8—9.)

Но все же — государственные люди! просвещенные марксисты! теоретические умы! — как же они справились с этим испытанием? как же они переработали и осмыслили заранее не разжеванное, в газетах не разъясненное историческое событие? (А исторические события всегда налетают внезапно.)

Годами грубо натасканные по поддельному следу, вот какие давали они объяснения, поражающие глубиной:

1) это — очень ловкая работа иностранных разведок;

2) это — вредительство огромного масштаба! в НКВД засели вредители! (смешанный вариант: в НКВД засели немецкие разведчики);

3) это — затея местных энкаведистов;

И во всех трех случаях: мы сами виноваты в потере бдительности! Сталин ничего не знает! Сталин не знает об этих арестах!! Вот он узнает — он всех их разгромит, а нас освободит!!

4) в рядах партии действительно страшная измена (а почему??), и во всей стране кишат враги, и большинство здесь посажены правильно, это уже не коммунисты, это контрюги, и надо в камере остерегаться, не надо при них разговаривать. Только я посажен совершенно невинно. Ну, может быть, еще и ты. (К этому варианту примыкал и Механошин, бывший член Реввоенсовета. То есть, выпусти его, дай волю — сколько бы он сжал!);

5) эти репрессии — историческая необходимость развития нашего общества. (Так говорили немногие из теоретиков, не потерявшие владение собой, например профессор из Плехановского института мирового хозяйства. Объяснение-то верное, и можно было бы восхищаться, как он это правильно и быстро понял, — да закономерности-то самой никто из них не объяснил, а только в дуделку из постоянного набора: историческая необходимость развития»; на что угодно так непонятно говори — и всегда будешь прав.)

И во всех пяти вариантах никто, конечно, не обвинял Сталина — он оставался незатменным солнцем!

На фоне этих изумительных объяснений психологически очень возможным кажется и то, которое приписывает своим персонажам Нароков (Марченко) в «Мнимых величинах»: что все эти посадки есть просто спектакль, проверка верных сталинцев. Надо делать все, что от тебя требуют, и кто будет подписывать все и не озлится — тот будет потом сильно возвышен.

И если вдруг кто-нибудь из старых партийцев, например Александр Иванович Яшкевич, белорусский цензор, хрипел в углу камеры, что Сталин — никакая не правая рука Ленина, а — собака, и пока он не подохнет — добра не будет, — на такого ортодоксы бросались с кулаками, на такого спешили донести своему следователю!

Вообразить себе нельзя благомысла, который на минуту бы екнул в мечте о смерти Сталина.

Вот на каком уровне пытливого мыслителя застал 1937 год благонамеренных ортодоксов! И как же оставалось им настраиваться перед судом? Очевидно, как Парсонс в «1984» у Оруэлла: «разве партия может арестовать невинного? Я на суде скажу им: спасибо, что вы спасли меня, пока еще можно было спасти!»

И какой же выход они для себя нашли? Какое же действенное решение подсказала им их революционная теория? Их решение стоит всех их объяснений! Вот оно:

чем больше посадят — тем скорее верху поймут ошибку! А поэтому — стараться как можно больше называть фамилий! Как можно больше давать фантастических показаний на невиновных! Всю партию не арестуют!

(А Сталину всю и не нужно было, ему только голову и долгостажников.)

Как среди членов всех российских партий коммунисты оказались первыми, кто стал давать ложные на себя показания*, — так им первым же безусловно принадлежит и это карусельное открытие: называть побольше фамилий! Такого еще русские революционеры не слышали!

Проявлялась ли в этой теории куцость их предвидения? убогость мышления? Мне сердцем чуеться, что — нет, что здесь был у них — испуг. А теория эта — лишь подручная маскировка прикрыть свою слабость. Ведь назывались они (давно уже незаконно) революционерами, а, глянув в себя, содрогнулись: оказалось, что они не могут выстоять. Эта «теория» освободила их от необходимости бороться со следователем.

Хотя б то было понять им, что эту чистку партии Сталин необходимо должен провести, чтобы снизить партию по сравнению с собой.

Конечно, они не держали в памяти, как совсем недавно сами помогали Сталину громить оппозиции, да даже и самих себя. Ведь Сталин дал своим слабавольным жертвам возможность рискнуть, возможность восстать, эта игра была для него не без удовольствия. Для ареста каждого члена ЦК требовалась санкция всех остальных! — так придумал игривец-тигр. И пока шли пусто-деловые пленумы, совещания, по рядам передавалась бумага, где безлично указывалось: поступил материал, компрометирующий такого-то; и предлагалось поставить согласие (или несогласие!..) на исключение его из ЦК. (И еще кто-нибудь наблюдал, долго ли читающий задерживает бумагу.) И все — ставили визу. Так Цент-

ральный Комитет ВКП(б) расстрелял сам себя. (Да Сталин еще раньше угадал и проверил их слабость: раз верхушка партии приняла как должное высокие зарплаты, тайное снабжение, закрытые санатории — она уже в капкане, ей уже не воспрять.) А кто было «спецприсутствие», судившее Тухачевского—Якира? Блюхер! Егоров! (И С. А. Туровский.)

И уж тем более забыли они (да не читали никогда) такую давнь, как послание патриарха Тихона Совету Народных Комиссаров 26 октября 1918 года. Взывая о пощаде и освобождении невинных, предупредил их твердый патриарх: «взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая (Луки: 11,51) и от меча погибнете сами вы, взявшие меч (Матфея: 26,52)». Но тогда это казалось смешно, невозможным! Где было им тогда предоставить, что История все-таки знает иногда возмездие, какую-то сладострастную позднюю справедливость, но странную выбирает для нее формы и неожиданных исполнителей.

И если на молодого Тухачевского, когда он победно возвращался с подавления разоренных тамбовских крестьян, не нашлось на вокзале еще одной Маруси Спиридоновой, чтоб уложить его пулею в лоб, — это сделал недоучившийся грузинский семинарист через 16 лет.

И если проклятья женщин и детей, расстрелянных крымской весной 1921 года, как рассказал нам Волошин, не могли прорезать грудь Бела Куна, — это сделал его товарищ по III Интернационалу.

И Петерса, Лациса, Берзиня, Агранова, Прокофьева, Балицкого, Артузова, Чудновского, Дыбенко, Уборевича, Бубнова, Алафузо, Алксниса, Аронштама, Геккера, Гиттиса, Егорова, Жлобу, Ковтюха, Корка, Кутякова, Примакова, Путну, Ю. Саблина, Фельдмана, Р. Эйдмана; и Уншлихта, Енукидзе, Невского, Нахамкеса, Ломова, Кактыня, Косиора, Рудзутака, Гикало, Голодеда, Шлихтера, Белобородова, Пятакова и Зиновьева, — всех их покарал маленький рыжий мясник, а нам пришлось бы о некоторых терпеливо искать, к чему приложили они руку и подпись за пятнадцать и двадцать лет перед тем.

Бороться? Бороться из них не пробовал никто. Если скажут, что трудно было бороться в ежовских камерах, — то

* Ну, может быть, «Союзное бюро меньшевиков» опередило их, но они по убеждениям были почти большевиками.

почему не открыли борьбы хоть на день раньше своего ареста? Неужели не видно было, куда течет? Значит, вся молитва была: пронеси мимо! Почему малодушно кончил с собой Орджоникидзе? (А если убит — то почему дождался?) Почему не боролась верная подруга Ленина Крупская? Почему ни разу не выступила она с публичным разоблачением, как старый рабочий в ростовских Ленмастерских (в 1932—1933)? Неужели уж так боялась за свою старушечью жизнь? Члены первого Иваново-Вознесенского Совдепа 1905 года — Алалыкин, Спиридонов, — почему они теперь подписывали позорные обвинения на себя? А председатель того Совдепа Шубин, более того, подписал, что никакого Совдепа в 1905 году в Иваново-Вознесенске и не было? Как же можно так наплевать на всю свою жизнь?

Сами благомыслы, вспоминая теперь 37 год, стонут о несправедливости, об ужасах — никто не упоминает о возможностях борьбы, которые физически были у них — и не использованы никем. Да уж они и никогда не объяснят. И время тех аргументов ушло.

Всей твердости посаженных правозащитников хватало лишь для разрушения традиций политических заключенных. Они чуждались инакомыслящих однокамерников, таились от них, шептались об ужасах следствия так, чтобы не слышали беспартийные или эсеры — «не давать им материала против партии!»

Евгения Гольцман в казанской тюрьме (1938) противилась перестукиванию между камерами: как коммунистка она не согласна нарушать советские законы! Когда же приносили газету — настаивала Гольцман, чтобы сокамерницы читали ее не поверхностно, а подробно!

Мемуары Е. Гинзбург в тюремной их части дают сокровенные свидетельства о наборе 1937 года. Вот твердолобая Юлия Анненкова требует от камеры: «не смейте потешаться над надзирателем! Он представляет здесь советскую власть!» (А? Все перевернулось! Эту сцену покажите в сказочную гляделку буйным революционеркам в царской тюрьме!) Или комсомолка Катя Широкова спрашивает у Гинзбург в шмональном помещении: вон та немецкая коммунистка спрятала золото в волосы, но тюрьма-то наша, советская, — так не надо ли донести надзирательнице!?

А Екатерина Олицкая, ехавшая на Колыму в том же самом 7-м вагоне, где и Гинзбург (этот вагон почти сплошь состоял из одних коммунисток), дополняет ее сочные воспоминания двумя разительными подробностями.

У кого были деньги, дали на покупку зеленого лука, а получить тот лук в вагон пришлось Олицкой. С ее старореволюционными традициями, ей и в голову не пришло ничего другого, как делить на 40 человек. Но тотчас же ее одернули: «Делить на тех, кто деньги давал!» «Мы не можем кормить нищих!» «У нас у самих мало!» Олицкая обомлела даже: это были политические? .. Это были коммунистки набора 37 года!

И второй эпизод. В свердловской пересылочной бане этих женщин прогнали голыми сквозь строй надзирателей. Ничего, утешились. Уже на следующих перегонах они пели в своем вагоне:

«Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!»

Вот с таким комплексом миропонимания, вот с таким уровнем сознания вступают благомыслящие на свой долгий лагерный путь. Ничего не поняв с самого начала ни в аресте, ни в следствии, ни в общих событиях, они по упорству, по преданности (или по безвыходности?) будут теперь всю дорогу считать себя светоносными, будут объявлять только себя знающими суть вещей.

Однажды приняв решение ничего окружающего не замечать и не истолковывать, тем более постараются они не замечать и самого страшного для себя: как на них, на прибывающий набор 37 года, еще очень отличный в одежде, в манерах и в разговоре, смотрят лагерники, смотря бытовики, да и Пятнадцать Восьмая (кто выжил из «раскулаченных» — как раз кончал первые десятки). Вот они, кто носили с важным видом портфели! Вот они, кто ездили на персональных машинах! Вот они, кто в карточное время получали из закрытых распределителей! Вот они, кто обжирались в санаториях и блудили на курортах! — а нас по закону «семь-восьмых» отправляли на десять лет в лагерь за кочан капусты, за кукурузный початок. И с ненавистью им говорят: «Там, на воле, вы — нас, здесь будем мы — вас!» (Но это не

осуществится. Ортодоксы все скоро хорошо устроятся.)

Приводит Е. Гинзбург совсем противоположную сцену. Спрашивает ее тюремная медсестра: «Правда ли, что вы пошли за бедный народ, сидите за колхозников?» Вопрос невероятный. Может, тюремная сестра за решетками ничего не видит, так и спросила такую глупость. Но колхозники и простые лагерники имеют глаза, они сразу же узнавали этих людей, как раз и совершавших чудовищный сгон «коллективизации».

И в чем же состоит высокая истина благонамеренных? А в том, что они не хотят отказаться ни от одной прежней оценки и не хотят почерпнуть ни одной новой. Пусть жизнь хлещет через них, и переваливается через них, и даже колеса переезжает через них — а они ее не пускают в свою голову! а они не признают ее, как будто она не идет! Это нехотение что-либо изменить в своем мозгу, эта простая неспособность критически обмыслить опыт жизни — их гордость! На их мировоззрении не должна отразиться тюрьма! не должен отразиться лагерь! На чем стояли — на том и будем стоять! Мы — марксисты! Мы — материалисты! Как же можем мы измениться от того, что случайно попали в тюрьму? (Как же можем мы измениться сознанием, если бытие меняется, если оно показывается новыми сторонами? Ни за что! Провались оно пропадом, бытие, но нашего сознания оно не определит! Ведь мы же материалисты! . .)

Вот степень их проницания в случившееся с ними. В. М. Зарин: «я всегда повторял в лагере: из-за дураков (то есть посадивших его) с советской властью ссориться не собираюсь!»

Вот их неизбежная мораль: я посажен зря и значит я — хороший, а все вокруг — враги и сидят за дело.

Вот куда их энергия: по шесть и по двенадцать раз в году они шлют жалобы, заявления и просьбы. О чем там они пишут? Что они там скребут? Конечно, кланутся в преданности Великому и Гениальному (а без этого не освободят). Конечно, отрекаются от тех, кто уже расстрелян по их делу. Конечно, умоляют простить их и разрешить им вернуться туда, наверх. И завтра они с радостью примут любое партийное поручение — вот хотя бы управлять этим лагерем. (А что на все жалобы шли таким же густым косяком отказы — так это потому, что до Ста-

лина они не доходили! Он бы понял! Он бы простил, милостивец!)

Хороши ж «политические», если они просят власть — о прощении! . . Вот уровень их сознаний — генерал Горбатов со своими мемуарами. «Суд? Что с него взять? Ему так кто-то приказал . . .» О, какая сила анализа! И какая же англеская-большевистская кротость! Спрашивают Горбатова блатные: «Почему же вы сюда попали?» (Кстати, не могут они спрашивать на «вы».) Горбатов: «Оклеветали нехорошие люди». Нет, анализ-то, анализ каков! А ведет себя генерал не как Шухов, но как Фетюков: идет убирать канцелярию в надежде получить за это лишнюю корку хлеба. «Сметая со столов крошки и корочки, а иногда и кусочки хлеба, я в какой-то степени стал лучше утолять свой голод». Ну, хорошо, утоляй. Но Шухову ставят в тяжкую вину, что он думает о каше, и нет у него социального сознания, а генералу Горбатову все можно, потому что он мыслит . . . о нехороших людях! (Впрочем, Шухов не промах и судит обо всех событиях в стране посмелей генерала.)

А вот В. П. Голицын, сын уездного врача, инженер-дорожник. 140 (сто сорок!) суток он просидел в смертной камере (было время подумать!). Потом 15 лет, потом вечная ссылка. «В мозгах ничего не изменилось. Тот же беспартийный большевик. Мне помогла вера в партию, что зло творят не партия и правительство, а злая воля каких-то людей (анализ!), которые приходят и уходят (что-то никак не уйдут . . .), а все остальное (!) остается . . . И еще помогли выстоять простые советские люди, которых в 1937—1938 очень много было и в НКВД (то есть в аппарате), и в тюрьмах, и в лагерях. Не «кумы», а настоящие дзержинцы». (Совершенно непонятно: эти дзержинцы, которых было так много, — что ж они смотрели на беззакония каких-то людей? А сами к беззакониям не притрагивались? И при этом уцелели? Чудеса . . .)

Или Борис Дьяков: смерть Сталина пережил с острой болью (да он ли один? все ортодоксы). Ему казалось: умерла вся надежда на освобождение! . . *

Но мне кричат: нечестно! Нечестно! Вы ведите спор с настоящими теорети-

* Журнал «Октябрь», 1964, № 7.

ками! Из Института красной профессуры!

Пожалуйста. Я ли не спорил! А чем же я занимался в тюрьмах? и в этапах? и на пересылках? Сперва я спорил вместе с ними и за них. Но что-то наши аргументики показались мне жидкими. Потом я помалкивал и послушивал. Потом я спорил против них. Да сам Захаров, учитель Маленкова (очень он гордился, что — учитель Маленкова), и тот снисходил до диалогов со мной.

И вот что — ото всех этих споров остался у меня в голове как будто один спор. Как будто все эти талмудисты вместе — один слившийся человек. Из разу в раз он повторит в том же месте — тот же довод и теми же словами. И так же будет непробиваем, — непробиваем, вот их главное качество! Не изобретено еще броневойных снарядов против чугунолобых! Спорить с ними — изнуришься, если заранее не принять, что спор этот — просто игра, забава веселая.

С другом моим Паниным лежим мы так на средней полке вагон-зака, хорошо устроились, сеledку в карман спрятали, пить не хочется, можно бы и поспать. Но на какой-то станции в наше купе суют — ученого марксиста! это даже по клиновидной бородке, по очкам его видно. Не скрывает: бывший профессор Коммунистической академии. Свесились мы в квадратную прорезь — с первых же его слов поняли: непробиваемый. А сидим в тюрьме давно, и сидеть еще много, ценим веселую шутку — надо слезть позабавиться! Довольно просторно в купе, с кем-то поменялись, стиснулись.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Вам не тесно?

— Да нет, ничего.

— Давно сидите?

— Порядочно.

— Осталось меньше?

— Да почти столько же.

— А смотрите — деревни какие нищие: солома, избы косые.

— Наследие царского режима.

— Ну да и советских лет уже тридцать.

— Исторически ничтожный срок.

— Беда, что колхозники голодают.

— А вы заглядывали во все чугунки?

— Но спросите любого колхозника в нашем купе.

— Все посаженные в тюрьму — озлоблены и необъективны.

— Но я сам видел колхозы...

— Значит, нехарактерные.

(Клинобородый и вовсе в них не бывал, так и проче.)

— Но спросите вы старых людей: при царе они были сыты, одеты, и праздников сколько!

— Не буду и спрашивать. Субъективное свойство человеческой памяти: хвалить все прошедшее. Которая королева пала, та два удоа давала. — Он и пословицей иногда. — А праздники наш народ не любит, он любит трудиться.

— А почему во многих городах с хлебом плохо?

— Когда?

— Да и перед самой войной...

— Неправда! Перед войной как раз все наладилось.

— Слушайте, по всем волжским городам тогда стояли тысячные очереди...

— Какой-нибудь местный незавоз. А скорей всего вам изменяет память.

— Да и сейчас не хватает!

— Бабы слетни. У нас 7—8 миллиардов пудов зерна*.

— А зерно — перепревшее.

— Напротив, успехи селекции.

— Но во многих магазинах прилавки пустые.

— Неповоротливость на местах.

— Да и цены высоки. Рабочий во многом себе отказывает.

— Наши цены научно обоснованы, как нигде.

— Значит, зарплата низкая.

— И зарплата научно обоснована.

— Значит, так обоснована, что рабочий большую часть времени работает на государство бесплатно.

— Вы не разбираетесь в политэкономии. Кто вы по специальности?

— Инженер.

— А я именно экономист. Не спорьте. У нас прибавочная стоимость невозможна даже.

— Но почему раньше отец семейства мог кормить семью один, а теперь должны работать двое-трое?

* Ведь еще нескорo обнарудует Хрущев, что в 1952 году собрали хлеба меньше, чем в 1913.

— Потому что раньше была безработица, жена не могла устроиться. И семья голодала. Кроме того, работа жены важна для ее равенства.

— Какого ж к черту равенства? А на ком все домашние заботы?

— Должен муж помогать.

— А вот вы — помогали жене?

— Я не женат.

— Значит, раньше каждый работал днем, а теперь оба еще должны работать и вечером. У женщины не остается времени на главное: на воспитание детей.

— Совершенно достаточно. Главное их воспитание — это детский сад, школа, комсомол.

— Ну, и как они воспитывают? Растут хулиганы, воришки. Девчонки — распущенные.

— Ничего подобного. Наша молодежь высокоидейна.

— Это — по газетам. Но наши газеты лгут!

— Они гораздо честнее буржуазных. Почитали бы вы буржуазные.

— Дайте почитать!

— Это совершенно излишне.

— И все-таки наши газеты лгут!

— Они открыто связаны с пролетариатом.

— В результате такого воспитания растет преступность.

— Наоборот, падает. Дайте статистику!

Это — их любимый козырь: дайте им статистику! — в стране, где засекречено даже количество овечьих хвостов. Но — дождутся они: еще дадим мы им и статистику.

— А почему еще растет преступность: законы наши сами рожают преступления. Они свирепы и нелепы.

— Наоборот, прекрасные законы. Лучшие в истории человечества.

— Особенно 58-я статья.

— Без нее наше молодое государство не устояло бы.

— Но оно уже не такое молодое.

— Исторически очень молодое.

— Но оглянитесь, сколько людей сидит!

— Они получили по заслугам.

— А вы?

— Меня посадили ошибочно. Разберутся — выпустят.

(Эту лазейку они все себе оставляют).

— Ошибочно? Каковы ж тогда ваши законы?

— Законы прекрасны, печальны отступления от них.

— Везде — блат, взятки, коррупция.

— Надо усилить коммунистическое воспитание.

И так далее. Он невозмутим. Он говорит языком, не требующим напряжения ума. Спорить с ним — идти по пустыне.

О таких людях говорят: все кузни исходил, а некован воротился.

А сложись его личная судьба иначе — мы не узнали бы, какой это сухой малозаметный человек. С уважением читали бы его фамилию в газете, он ходил бы в наркомы или смел бы представлять за границей всю Россию.

Спорить с ним бесполезно. Гораздо интересней сыграть с ним... нет, не в шахматы, («в товарищей»). Есть такая игра. Это очень просто. Пару раз ему поддадите. Скажите ему что-нибудь из его же набора слов. Ему станет приятно. Ведь он привык, что все вокруг — враги, он устал огрызаться и совсем не любит рассказывать, потому что все рассказы будут тут же обращены против него. А приняв вас за своего, он вполне по-человечески откроется вам, что вот видел на вокзале: люди проходят, разговаривают, смеются, жизнь идет. Партия руководит, текут великие события, кто-то перемещается с поста на пост, а мы тут с вами сидим, нас горсть, надо — писать, писать просьбы о пересмотре, о помиловании...

Или расскажет что-нибудь интересное: в Комакадемии наметили они съезд одного товарища, чувствовали, что он какой-то не настоящий, не наш, но никак не удавалось: в статьях его не было ошибок, и биография чистая. И вдруг, разбирая архивы, о находка! — наткнулись на старую брошюрку этого товарища, которую держал в руках сам Ильич и на полях оставил своим почерком пометку: «как экономист — говно». «Ну, вы сами понимаете, — доверительно улыбается наш собеседник, — что после этого нам ничего не стоило расправиться с путником и самозванцем. Выгнали и лишили ученого звания».

Вагоны стучат. Уже все спят, кто лежат, кто сидят. Иногда по коридору проидет конвойный солдат, зевая.

Пропадает никем не записанный еще один эпизод из ленинской биографии...

Для полноты представления о благонамеренных исследуем их поведение во всех основных разрезах лагерной жизни.

А) Отношение к лагерному режиму и к борьбе заключенных за свои права.

Поскольку лагерный режим установлен нами, советской же властью, — надо его соблюдать не только с готовностью, но и со всей сознательностью. Надо соблюдать самый дух режима еще прежде, чем это будет потребовано или указано надзором.

Все у той же Е. Гинзбург изумительные наблюдения: женщины оправдывают стрижку (под машинку) своей головы (раз требует режим)! Из закрытой тюрьмы их шлют умирать на Колыму. У них готово свое объяснение: значит, нам доверяют, что мы там будем работать по совести!

О какой же к черту «борьбе» может идти речь? Борьба — против кого? Против своих! Борьбе — во имя чего? Во имя личного освобождения? Так надо не бороться, а просить в законном порядке. Во имя свержения советской власти? Типун вам на язык!

Среди тех лагерников, кто хотел бороться, но не мог; кто мог, но не хотел; кто и мог и хотел (и боролся! дойдет черед, поговорим и о них!), — ортодоксы представляют четвертую группу: кто не хотел — да и не мог, если бы захотел. Вся предыдущая жизнь уготовила их только к искусственной, условной среде. Их «борьба» на воле была принятием и передачей одобренных свыше резолюций и распоряжений с помощью телефона и электрического звонка. В лагерных условиях, где борьба потребует скорее всего рукопашной, и безоружным идти на автоматы, и ползти по-пластунски под обстрелом, они были Сидоры Поликарповичи и Укропы Помидоровичи, никому не страшные и ни к чему не годные.

И уж тем более эти принципиальные борцы за общечеловеческое счастье никогда не были помехой для разбоя блатных: они не возражали против записки блатных на кухнях и в придурках (читайте хотя бы генерала Горбатова, там есть) — ведь это по их теории социально-близкие блатные получили в лагере такую власть. Они не мешали грабить при себе слабых и сами тоже не сопротивлялись грабежу.

И все это было логично, концы сошлись с концами, и никто не оспаривал. Но вот подошла пора писать историю, раздались первые придушенные голоса о лагерной жизни, благомыслящие оглянулись, и стало им обидно: как же так? они, такие передовые, такие сознательные, — и не боролись! И даже не знали, что был культ личности Сталина!* И не предполагали, что дорогой Лаврентий Павлович — заклятый враг народа!

И спешно понадобилось пустить какую-то мутную версию, что они — боролись. Упрекали моего Ивана Денисовича все журнальные шавки, кому только не лень: почему не боролся, сукин сын? «Московская правда» (8.12.62) даже укоряла Ивана Денисовича, что коммунисты устраивали в лагерях подпольные собрания, а он на них не ходил, уму-разуму не учился у мыслящих.

Но что за бред? — какие подпольные собрания? И зачем? — чтобы показывать кукиш в кармане? И кому показывать кукиш, если от младшего надзирателя и до самого Сталина — сплошь советская власть? И когда, и какими же методами они боролись?

Этого никто назвать не может.

А мыслили они о чем? — если единственно разрешали себе повторять: все действительно разумно? О чем они мыслили, если вся их молитва была: не бей меня, царская плеть?

Б) Взаимоотношения с лагерным начальством.

Какое ж может быть отношение у благомыслящих к лагерному начальству, кроме самого почтительного и приятного? Ведь лагерные начальники — все члены партии и выполняют партийную директиву, не их вина, что «я» (=единственный невиновный) прислан сюда с приговором. Ортодоксы прекрасно сознают, что окажись они вдруг на месте лагерных

* В 1957 году завкадрами рязанского облоно спросила меня: «А за что вы были в 45 году арестованы!» — «За высказывание против культа личности», — ответил я. «Как это может быть!» — изумилась она. — Разве тогда был культ личности!» [Она искренне так поняла, что культ личности объявили в 1956, откуда ж он в 1945!]

начальников — и они все делали бы точно так же.

Тодорский, о котором прошумела теперь вся наша пресса как о лагерном герое (журналист из семинаристов, замеченный Лениным и, почему-то ставший к 30-м годам начальником Военно-воздушной (?) академии), по тексту Дьякова, даже с начальником снабжения, мимо которого работяга пройдет и глаз не повернет, — разговаривает так:

— Чем могу служить, гражданин начальник?

Начальнику же санчасти Тодорский составляет конспект по «Краткому курсу». Если Тодорский хоть в чем-нибудь мыслит не так, как в «Кратком курсе», — то где ж его принципиальность, как он может составлять конспект точно по Сталину? Значит, он мыслит так точно.

Но мало любить начальство! — надо, чтобы и начальство тебя любило. Надо же объяснить начальству, что мы — такие же, вашего теста, уж вы нас пригрейте как-нибудь. Оттого герои Серебряковой, Шелеста, Дьякова, Алдан-Семенова при каждом случае, надо не надо, удобно неудобно, при приеме этапа, при проверке по формулярам, заявляют себя коммунистами. Это и есть заявка на теплое местечко.

Шелест придумывает даже такую сцену. На котласской пересылке идет переключка по формулярам: «Партийность?» — спросил начальник. (Для каких дураков это пишется? Где в тюремных формулярах графа партийности?) «Член ВКП(б)», — отвечает Шелест на поставленный вопрос.

И надо отдать справедливость начальникам, как дзержинцам, так и бериянцам: они слышат. И — устраивают. Да не было ли письменной или хотя бы устной директивы: коммунистов устраивать поприличнее? Ибо даже в периоды самых резких гонений на Пятьдесят Восьмую, когда ее снимали с должностей придурков, бывшие крупные коммунисты почему-то удерживались. (Например, в Краслаге. Бывший член военсовета СКВО Аралов держался бригадиром огородников, бывший

комбриг Иванчик — бригадиром котеджей, бывший секретарь МК Дедков — тоже на синекуре.) Но и безо всякой директивы простая солидарность и простой расчет — «сегодня ты, а завтра я», — должны были понуждать эмвешников заботиться о правоверных.

И получалось, что ортодоксы были у начальства на ближнем счету, составляли в лагере устойчивую привилегированную прослойку. (На рядовых тихих коммунистов, кто не ходил к начальству твердить о своей вере, это не распространялось.)

Алдан-Семенов в простоте так прямо и пишет: коммунисты-начальники стараются перевести коммунистов-заклученных на более легкую работу. Не скрывает и Дьяков: новичок Ром объявил начальнику больницы, что он — старый большевик. И сразу же его оставляют дневальным санчасти — очень завидная должность! Распоряжается и начальник лагеря не страгивать Тодорского с санитаров.

Но самый замечательный случай рассказывает Г. Шелест в «Колымских записях»*: приехал новый крупный эмвешник и в заключенном Заборском узнает своего бывшего комкора по гражданской войне. Прослезились. Ну, полцарства проси! И Заборский соглашается «особо питаться с кухни и брать хлеба сколько надо» (то есть обедать работяга, ибо новых норм питания ему никто не выпишет) и просит дать ему только шеститомник Ленина, чтобы читать его вечерами при копилке! Так все и устраивается: днем он питается ворованным пайком, вечером читает Ленина. Так откровенно и с удовольствием прославляется подлость.

Еще у Шелеста какое-то мифическое «подпольное политбюро» бригады (многовато для бригады?) в неурочное время раздобывает и буханку хлеба из хлеборезки и миску овсяной каши. Значит — везде свои придурки? И значит, — подворовываем, благомыслящие?

Все тот же Шелест дает нам окончательный вывод:

«Одни выживали силой духа (вот эти ортодоксы, воруя кашу и хлеб. — А. С.), другие — лишей миской овсяной каши» (Это — Иван Денисович)**.

* Возражат нам: принципиальность-то принципиальность, но иногда нужно быть и гибким. Был же период, когда Ульбрихт и Димитров инструктировали свои компартии о мире с нацистами и даже поддержке их. Ну, тут нам крыть нечем, диалектика!

* Журнал «Знамя», 1964, № 9.

** «Забайкальский рабочий», 27.8.64.

Ну, и пусть будет так. У Ивана Денисовича знакомых придурков нет. Только скажите: а камушки? камушки-то кто на стену клал, а? Твердолобые, вы ли?

В) Отношение к труду. В общем виде ортодоксы преданы труду (заместитель Эйхе и в тифозном бреду только тогда успокаивался, когда сестра уверяла его, что — да, телеграммы о хлебозаготовках уже посланы). В общем виде они одобряют и лагерный труд: он нужен для построения коммунизма, и без него было бы незаслуженно всей ораве арестантов выдавать баланду. Поэтому они считают вполне разумным, что отказчиков следует бить, сажать в БУР, а в военное время и расстреливать. Вполне моральным считается у них и быть нарядчиком, бригадиром, любым погонщиком и понукателем (тут они расходятся с «честными ворами» и сходятся с «суками»).

Вот, например, была бригадиром лесоповальной бригады Елена Никитина, бывший секретарь киевского комитета комсомола. Рассказывают о ней: обворовывала выработку своей же бригады (Пятьдесят Восьмой), меняла с блатными. Откупалась у нее от работы Люся Джапаридзе (дочь бакинского комиссара) посылочным шоколадом. Зато анархистку Татьяну Гарасеву бригадирша трое суток не выпускала из лесу — до отморожения.

Вот Прохоров-Пустовер, тоже большевик, хоть и беспартийный, разблачивает эзков, что они нарочно не выполняют нормы (и докладывают об этом по начальству, тех наказывают). На упреки эзков, что надо же понимать — их труд рабский, Пустовер отвечает: «Странная философия! в капиталистических странах рабочие борются против рабского труда, но мы-то, хоть и рабы, работаем на социалистическое государство, не для частных лиц. Эти чиновники лишь временно (?) стоят у власти, одно движение народа — и они слетят, а государство народа останется».

Это — дебри, сознание ортодокса. С ним невозможно столкнуться живому человеку.

И единственное только исключение благомыслящие оговаривают для себя: их самих было бы неправильно использовать в общем лагерном труде, так как тогда им трудно было бы сохранить для будущего плодотворного руководства советским народом, да и

сами лагерные годы им трудно было бы мыслить, то есть, собираясь гужками, повторять по круговой очереди, что правы товарищ Сталин, товарищ Молотов, товарищ Берия и вся остальная партия.

А поэтому всеми силами под покровительством лагерных начальников и с тайной помощью друг друга они стараются устроиться придурками — на те места, которые не требуют знаний (специальности у них ни у кого нет) и которые поспокойней, подальше от главной лагерной рукопашной. Так и уцепляются они: Захаров (учитель Маленкова) — за каптерку личных вещей; упомянутый выше Заборский (сам Шелест?) — за стол вещдоловствия; пресловутый Тодорский — при санчасти; Конокотин — фельдшером (хотя никакой он не фельдшер); Серебрякова — медсестрой (хотя никакая она не медсестра). Придурком был и Алдан-Семенов.

Лагерная биография Дьякова — самого горластого из благонамеренных, представлена его собственным пером и достойна удивления. За пять лет своего срока он умудрился выйти за зону один раз — и то на полдня, за эти полдня он проработал полчаса, рубил сучья, и то надзиратель сказал ему: ты умаялся, отдохни. Полчаса за пять лет! — это не каждому удается! Какое-то время он косил на грыжу, потом на свещ от грыжи — но, слушайте, не пять же лет! Чтобы получать такие золотые места, как медстатистик, библиотекарь КВЧ и каптер личных вещей, и держаться на этом весь срок — мало кому-то заплатить салом, вероятно и душу надо снести куму, — пусть оценят старые лагерники. Да Дьяков еще не просто придурок, а придурок воинственный: в первом варианте своей повести*, пока его публично не пристыдили**, он с изыществом обосновывал, почему умный человек должен избежать грубой народной участи («шахматная комбинация», «рокировка», то есть вместо себя подставить под бой другого). И этот человек берется теперь стать главным истолкователем лагерной жизни!

Г. Серебрякова свою лагерную биографию сообщает осторожным пунктиром. Говорят, есть тяжелые свидетельницы против нее. Я не имел возможности это проверить.

* Журнал «Звезда», 1963, № 3.

** «Новый мир», 1964, № 1, Лакшин.

Но не сами только авторы-коммунисты, а и все остальные благонамеренные, описанные этим хором авторов, все показаны вне труда — или в больнице или в придурках, где и ведут они свои мракобесные (и несколько осовремененные) разговоры. Здесь писатели не лгут: у них просто не хватило фантазии изобразить этих твердолобых за трудом, полезным обществу. (Как изобразишь, если сам никогда не работал?)

Г) Отношение к побегам. Сами твердолобые в побег никогда не ходят: ведь это был бы акт борьбы с режимом, дезорганизация МВД, а значит и подрыв советской власти. Кроме того, у ортодоксов всегда странствует в высших инстанциях две-три просьбы о помиловании, а побег мог бы быть истолкован там наверху как нетерпение, как даже недоверие к высшим инстанциям.

Да и не нуждались благомыслящие в «свободе вообще» — в людской, птичьей свободе. Всякая истина конкретна — и свобода им была нужна только из рук государства, законная, с печатью, с возвратом их доверственного положения и преимуществ, — а без этого зачем и свобода?

Ну а уж если сами они в побег не шли, — тем более они осуждали и все чужие побегии как чистый подрыв системы МВД и хозяйственного строительства.

А если побегии так вредны, то, вероятно, гражданским долгом благонамеренного коммуниста является, когда он узнал, — донести товарищу оперуполномоченному? Логично?

А ведь среди них были и когдатощие подпольщики, и смелые люди гражданской войны. Но их догма обратила их — в политическую шпану...

Д) Отношение к остальной Пятьдесят Восьмой. С товарищами по беде они никогда себя не смешивали, это было бы непартийно. Иногда тайно между собой, а иногда и совсем в открытую (тут риска им нет) они противопоставляли себя этой грязной Пятьдесят Восьмой, они старались от нее очиститься отделением. Именно эту простоватую массу они возглавляли на воле — и там не давали ей вымолвить свободного слова. Здесь же, оказавшись с ней в одних камерах и на равных, они, наоборот, подавлены ею не были и сколько угодно кричали на нее: «Так

вас и надо, мерзавцы! Все вы на воле притворялись! Все вы враги, и правильно вас посадили! Все закономерно! Все идет к великой победе!» (Только меня неправильно посадили.)

И беспрепятственность своих тюремных монологов (администрация всегда за ортодоксов, контры и возразить не смеют, будет второй срок) они серьезно приписывали силе всепообеждающего учения. (Ну, да в лагере бывало и иное соотношение сил. Некоему прокурору, сидевшему в Ужлаге, пришлось не один год притворяться юридивым. Только тем и спасся от расправы: сидели с ним «крестники» его.)

С откровенным презрением, с запоеданной классовой ненавистью озирались ортодоксы на всю Пятьдесят Восьмую, кроме себя. Дьяков: «Я в ужасе подумал, с кем мы здесь?» Конокотин не хочет делать укола больному врачу (хотя обязан как фельдшер!), но жертвенно отдает свою кровь больному конвоиру. (Как и вольный врач их Баринов: «прежде всего я — чекист, а потом врач». Вот это — медицина!) Вот теперь и понятно, зачем в больнице «нужны честные люди» (Дьяков): чтобы знать, кому уколы делать, а кому нет.

И ненависть эту они превращали в действие (а как же можно и зачем классовую ненависть таить в себе?). У Шелеста Самуил Гендаль, профессор (вероятно, коммунистического права), при нежелании кавказцев выйти на работу сразу дает затравку: подозревать муллу в саботаже.

Е) Отношение к стукачеству. Как в Рим ведут все дороги, так и предыдущие пункты все подвели нас к тому, что твердокаменным нельзя не сотрудничать с лучшими и душевнейшими из лагерных начальников — с оперуполномоченными. В их положении — это самый верный способ помочь НКВД, государству и партии.

Это кроме того и выгодно, это — лучшая спайка с начальством. Услуги кому не остаются без награды. Только при защите кума можно годами оставаться на хороших придурочных местах в зоне.

В одной книжке о лагере из того же ортодоксального потока* любимый автором наиположительнейший комму-

* Виктор Вяткин. Человек рождается дважды. Магадан, 1964.

нист Кратов руководствуется в лагере такой системой взглядов: 1) выжить любой ценой, ко всему приспособляясь; 2) пусть в стукачи идут порядочные люди — это лучше, чем пойдут негодяи.

Да если б ортодокс заупрямился и не пожелал служить куму — трудно ему той двери избежать. Всех правоверных, громко выражающих свою веру, оперуполномоченный не упустит ласково вызвать и отечески спросить: «Вы — советский человек?» И благонамеренный не может ответить «нет». Значит «да».

А если «да», так давайте сотрудничать, товарищ. Мешать вам не может ничто*.

Только теперь, извращая всю историю лагерей, стыдно признаваться, что сотрудничали. Не всегда попадались открыто, как Лиза Котик, обронившая письменный донос. Но вот проболтаются, что оперуполномоченный Соковников дружески отправлял письма Дьякова, минуя лагерную цензуру, лишь

* Иванов-Разумник вспоминает: в их бутырской камере разоблачили троих стукачей — и все трое оказались коммунисты.

не скажут: а за что отправлял? дружба такая — откуда? Придумают, что оперуполномоченный Яковлев не советовал Тодорскому открыто называться коммунистом, и не растолкуют: а почему он об этом заботился?

Но это — до времени. Уже при дверях та славная пора, когда можно будет встряхнуться и громко признаться:

— Да! Мы — стукачи и гордимся этим!*

А впрочем — зачем вся эта глава? весь этот длинный обзор и анализ благонамеренных? Вместо этого напишем аршинными буквами:

ЯНОШ КАДАР. ВЛАДИСЛАВ ГОМУЛКА. ГУСТАВ ГУСАК.

Они прошли и несправедливый арест, и пыточное следствие, и по сколько-то лет отсидели.

Весь мир видит, много ли они усвоили. Весь мир узнал им цену.

Продолжение следует

* Я написал это в начале 1966 года, а к концу его прочел в «Октябре» № 9 статью К. Буковского. Так и есть — уже открыто гордятся.



Плакат с выставки «Угар сталинского романтизма».

Фото Олега Зернова

В. Н. ТОПОРОВ



Владимир Николаевич ТОПОРОВ (род. в 1928 г.) — лингвист, литературовед, семиотик, культуролог; автор многочисленных работ по мифологии, фольклору, языкознанию, европейской, восточной и русской литературам; один из ведущих авторов энциклопедии «Мифы народов мира» [1981]. В числе книг: «Славянские языковые моделирующие системы» [1965], «Исследования в области славянских древностей» [1974] (обе эти книги написаны в соавторстве с В. В. Ивановым), «Ахматова и Блок» [1981], «Господин Прохарчи: К анализу петербургской повести Достоевского» [1982].

О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ В ЛАТВИИ

Едва ли стоит доказывать, что русская культура в Латвии существует, имеет свои традиции и в настоящее время представляет собой интересный региональный вариант всей русской культуры. Но я никогда не решился бы говорить на эту тему и тем более о том, какой желательнее видеть русскую культуру в Латвии сейчас и в будущем, если бы считал, что, пространственно локализуемая в том же месте, что и латышская, она может как-то потеснить ее, исказить ее суть, нанести ей урон. Понятие тесноты пространства, отмечающее некий кризис способности к вмещению, то есть принятию в себя новых объектов, очень существенно в двух случаях — когда речь идет о физическом пространстве, где действует принцип «одно место — один объект», или о сосуществовании основоположных, программирующих, но разнонаправленных идей при условии, что в этом месте и в это время должна быть лишь одна идея (нравственный закон, неальтернативный по своей сути). «Две неподвижные идеи, — писал именно об этом Пушкин, — не могут вместе существовать в нравственной природе, так же как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место». Но есть простран-

ство и пространство. Пространство культуры устроено совершенно иным способом: оно выталкивает из себя то, что ему противоречит, — антикультуру, но оно вмещает в себя все, что есть подлинная культура. Более того, это «иное» пространство таково, что оно раздвигается, расширяется или — в другом аспекте, ориентированном уже скорее на культуру, нежели на пространство, — углубляется, осложняется, обогащается, по мере заполнения его новыми явлениями культуры. В этом контексте ни русская культура не может быть «вредной» для латышской, ни последняя для русской. Напротив, обе эти культуры при достаточном знакомстве друг с другом не только не мешают друг другу и не находятся в состоянии некоего равнодушного и беспоследственного нейтралитета, но и помогают друг другу уяснить свои сильные и слабые места и оценить важность взаимных связей. Но это еще не главное достижение.

Одним из самых замечательных открытий нашего века в гуманитарной сфере нужно считать проблему «другого». Конечно, о ней догадывались и раньше (уже буддизму, в некоторых его вариантах, она была близка), но масштабы и фундаментальность выво-

дов из этой проблемы ускользали от внимания и были осмыслены лишь в наше время. Конкретно эта проблема прежде всего воплощается в проблему Ты, того «ближайше-актуального» человека, с которым наше Я входит в общение с помощью слова (в отличие от Он), вступает в диалог, где, независимо от того, кто прав и кто ошибается, совместно оформляется некий совокупный и более высокий смысл, чем те, которые были в распоряжении каждой из сторон (в связи с ролью языка в культуре важно подчеркнуть, что участники диалога определяются через речь и только через нее: Я — тот, кто говорит, обращаясь вовне, к другому; Ты — тот другой, к кому обращена речь Я). Но подлинный диалог уже с самого начала требует взаимопонимания, сначала — хотя бы минимально необходимого для поддержания диалога, но в ходе его все более и более возрастающего. Чтобы это возрастание действительно происходило, каждая из сторон должна отбросить то «свое», обычно узкоэгоцентрическое, преходящее, в широкой перспективе случайное, что мешает пониманию тебя другим, и, следовательно, выявить в себе лучшее, подлинное, разумное, верное своей сути, но оформленное так, что оно может быть если не принято, то понято этим другим. А это и означает прорыв «своего» и «чужого», частного и «национального» в сферу общего и всечеловеческого. На этом пути и неудача поучительна и, следовательно, относительна: надежда на согласие не отменяется, но лишь откладывается на время. Это время должно быть использовано для того, чтобы сравнить одно и другое и обеспечить перевод между ними. Русское слово сравнение, обозначающее понятие-идею, без которой нечего делать специалисту в области культуры, помимо всего прочего отсылает к двум важным смыслам — участию в обозначаемом этим словом действия более чем одного участника и идее равенства: два объекта не просто сопоставляются, но именно сравниваются, то есть к ним применяется равная мерка; соприродная тому, что она измеряет, она фиксирует равное даже в неравном. В глубоком философском смысле сравнение всегда одушевлено этой идеей идеального равенства, и принятие этой идеи необходимое условие под-

линного контакта языков и культур, того диалога, который не может не открыть того большого и нового смысла, который естественно и свободно связывает участников диалога, подобно тому, как путь делает совместно идущих по нему спутникам и. Продолжая эту метафору, приходится настаивать на том, что эти спутники суть образы двух народов, причем не как двух толп или каких бы то ни было множеств, но скорее как двух личностей, народов-личностей, и перевод смыслов культур совершается именно между ними: он принципиально возможен как раз в силу того, что участники перевода-диалога достигли статуса личности, преодолев свое предыдущее аморфное состояние народатолпы, народа-массы. Итак, чтобы диалог-перевод был поставлен на прочный фундамент и плодотворно осуществлялся, нужны: 1) такое Я, которое сознает и признает, что Ты, к которому оно обращается, тоже Я, хотя и другое (то же относится и к Ты), иначе говоря, рассматривает это другое Я не как печальную необходимость, а как счастливый шанс к совместной работе; 2) «личностный» статус участников диалога; 3) подлинные ценности, которые только и достойны перевода этого рода. Эти условия имеют самое прямое отношение к теме русской культуры в Латвии и взаимоотношений с латышской культурой, хотя, конечно, не объясняют всей ситуации, характеризующейся значительной асимметричностью и огромной количественной диспропорцией. У первой есть огромный материк русской культуры России, малую часть которой она составляет; латышская культура Латвии составляет целое, и культура латышской диаспоры при всех ее достижениях, в силу сложившихся условий, явление иного плана.

Но есть еще одно обстоятельство, которое не может быть игнорировано при обсуждении этой темы: русская культура в Латвии ни сейчас, ни раньше не может быть понята ни в полной изоляции от латышской, ни как абсолютно подобная русской культуре России. Факт пространственной смежности (или, лучше, сосуществования на одном и том же месте) русской и латышской культур в Латвии несомненен и, более того, чреват серьезными следствиями. «Только явлениям смежности присуща та черта принадлежно-

сти и душевного драматизма, которая может быть оправдана метафорически. Самостоятельная потребность в сближении по сходству просто немыслима». Этот душевный драматизм, требующий сравнения-сближения и метафорического выражения, если применить эти слова Пастернака к рассматриваемой ситуации, может быть понят как знак реальной и насущной (а не потенциальной, факультативной или просто теоретической) потребности в сравнении, поскольку без него остаются не вполне ясными не только взаимоотношения этих двух культур, но и в существенной части и сама русская культура Латвии; метафоричность же в данном случае должна толковаться как наиболее естественная форма выражения слоя органического синтеза культур, а не просто слоя механического их соположения.

Конечно, проблема русской культуры в Латвии и ее взаимодействия с латышской культурой может быть помещена в узкие рамки и исследоваться применительно к актуальному состоянию. Но нельзя забывать и о макроплане, той глубокой исторической перспективе, где «свое» и «чужое» нередко неразличимы, меняются местами, многократно скрещиваются. Не говоря о балто-славянском горизонте, соответственно языке и культуре, общих балтам и славянам (или — при другом возможном понимании — о прабалтийском, из которого позже выделились славянские языки), достаточно напомнить о кривичской проблеме. В настоящее время представляется весьма правдоподобным, что первоначально кривичи были балтским племенем, оставившим по себе следы в балтийских языках и культурах (т. наз. «кривичский» комплекс). Продвигаясь через балтийские территории с запада на восток, о чем свидетельствуют как лингвистические, так и археологические и исторические данные, они постепенно подвергались славизации. Выйдя за пределы теперешней Латвии и встретясь с носителями восточно-славянских говоров, они начали усваивать ранние формы русской и белорусской речи. Именно в это время, на этой территории этот язык латыши начали называть «*krievu valoda*», этот народ — «*krievi*», эту территорию (Псковская, Новгородская, Тверская, Витебская, Смоленская, часть Московской обл.) — «*Krievija*». Когда

позже сложились понятия русского языка, русских, Руси-России, эти термины, ранее применявшиеся к кривичам (позже — древнерусскому, а до того балтийскому племени), были перенесены на эти новые общности. Но не следует забывать, что кривичи достигли Москвы и Подмоскovie, где они в изобилии оставили балтизмы в названиях рек, и что русский фольклор всей этой полосы, особенно песни, обнаруживает многочисленные и далеко идущие соответствия и параллели к образам и формам балтийского, прежде всего латышского, фольклора. Это наследие — старое и часто практически общее. Оно образует исходный фон русско-латышских культурных связей. Лишь недостаточное внимание к изменению исторических пропорций сделало возможным упущение из виду того факта, что позже на той же территории к востоку (хотя и в меньших масштабах) фиксируется латгалский элемент, ср. псковских, новгородских, смоленских латгалов, сначала, видимо, этнографических, позже селившихся здесь в связи с их хозяйственными занятиями. Нужно помнить также, что русское былинное творчество рядом своих образов, имен, местных названий несомненно тяготеет к «латышскому» локусу (так, известная баба Латыгорка едва ли отделима от *Lefhögore/Ledegore* у Генриха Латыша, позже — *Lédurga*, и отчасти от *Latgola*).

Пропуская многое в истории культурных русско-латышских контактов, уместно все-таки упомянуть еще несколько эпизодов, отделенных друг от друга приблизительно вековым интервалом, за последние три столетия. На рубеже XVII—XVIII вв. пастор Глюк, сделавший первый перевод Библии на латышский язык (вышел в 1685), поощряемый из Москвы и пользуясь помощью русского священника, выполняет перевод этой же книги на русский язык. С нею в руках он был пленен при взятии Мариенбурга. Однако больше о переводе не было слухов. Доставленный в Москву, Глюк за несколько лет до преждевременной смерти сделал для русской культуры очень много: был директором практически первой русской школы типа гимназии; писал стихи на русском языке, пытаясь привить к русской поэзии формы и образы европейской духовной лирики того времени; одним из самых первых дал

образцы силлабо-тонического стихосложения; вел обширную просветительскую деятельность; по некоторым сведениям, снова перевел Библию на русский язык (и снова судьба перевода осталась неизвестной). Почти в то же время Рейтер (Ятниекс), пытавшийся переводить Библию на латышский язык, появляется сначала в Москве, позже в Унадице и Дудергофе, в ближайших окрестностях будущего Санкт-Петербурга, в качестве лютеранского пастора (в начале второй половины XIX в. в Москве и Петербурге найдут себе приют и место работы ряд выдающихся в будущем деятелей латышской культуры, с Кр. Бароном в их числе). Через век после этих событий, в 1785 г., в Москве появляется анонимный перевод книги под названием «Истина религии», открывающейся «Приношением от Сочинителя» с трогательным обращением к Курляндии, признанием в любви к ней. Как установлено, оригиналом было известное сочинение Старого Стендера «Wahrheit der Religion», очень актуальное в канун французской революции. Знакомство с этой книгой в кругу московских масонов, как и ее влияние на их умонастроение, несомненно. Впрочем, в то же время и русские люди, по пути на Запад, все чаще знакомятся с Лифляндией и Курляндией, останавливаются в Риге и Митаве. Живые свидетельства этого знакомства — в «Письмах русского путешественника» Карамзина. Едва ли нужно напоминать о регулярных культурных связях Курляндии с Петербургом и о том, что ряд выдающихся фигур были деятелями обеих культур. Еще через век, в конце XIX — начале XX в., закладываются более надежные основы для развития этих связей. С одной стороны, появляются переводы произведений крупнейших русских писателей, и они начинают оказывать влияние на латышскую читательскую аудиторию и на некоторых писателей. С другой стороны, в России появляются переводы из латышской литературы, и ряд русских писателей оказывается в Латвии, чаще всего в Риге и на Рижском взморье; латышские впечатления становятся более разнообразными (вытесняя многократно повторявшийся старый мотив Черезливонские я проезжал старое поля . . .), более личными. Революция, отделение Латвии от России и обретение ею независимости, как это ни парадоксально, еще более четко

выявили локусы русско-латышских культурных связей: именно после этого стало возможным говорить о сложении в Латвии русской культуры в ее устойчивых формах и об очагах латышской культуры в России, правда периферийной, довольно односторонней и недолговечной: два десятилетия было отпущено ей, прежде чем трагическая гибель этого варианта культуры и ее носителей не положила конец этому опыту.

Но и латышская культура Латвии, как и русская культура ее, тоже не избежала трагедии. События лета 1940 г. обернулись разгромом обеих этих культур, а то, что последовало после окончания войны, коренным образом изменило суть и формы каждой из этих культур, вызвав глубочайший упадок их, хотя и по разным (в значительной степени) причинам. Эти страницы истории русско-латышских культурных отношений очень тягостны, и лишь очень компетентный свидетель может определить изнутри подлинное соотношение зла, горя, страданий и разрозненных попыток пробиться к свету.

Но сейчас, в конце 80-х, несмотря на невосполнимость потерь и, может быть, именно вследствие их, проблема русской культуры в Латвии — и самой по себе и в отношении к латышской культуре — должна приобрести существенно иной вид, который определяется как новыми возможностями (новые оригинальные и значительные фигуры и в русской и в латышской культуре, прежде всего в литературе), так и новыми ее задачами, которые, думается, по силам русской культуре в Латвии, в частности, именно в силу новых возможностей.

Исходя из преамбулы теоретического характера в начале заметки, из истории русско-латышских культурных связей и из анализа современной ситуации (не только культурной), естественно следует вывод о высокой посредности и чуждости миссии русской культуры в Латвии, об особом долге, возложенном на нее, о многообразии факторов, которые она должна учитывать. Как минимум, она должна быть ориентирована на русских, живущих в Латвии, на латышей, живущих там же, наконец на русских, живущих в России и интересующихся Латвией и ее культурой. Ознакомление русских Латвии и метрополии с латышской культурой увязывается в единый узел с ознакомлением

латышей (по крайней мере и в первую очередь, двуязычных) с русской культурой — и метрополии и Латвии. У каждой из этих задач свой смысл и своя цель. Имея в виду русскую аудиторию Латвии, русская культура должна бороться против «потребительской» культуры, против агрессивности в отношении «чужой» культуры и за внедрение подлинных духовных ценностей прошлого и настоящего, за создание их в будущем, за то, чтобы было обращено внимание на латышскую культуру, бок о бок сосуществующую в Латвии с русской, но упорно не замечаемую и без всяких на то оснований высокомерно третируемую, нередко и оскорбляемую, чтобы внимание к ней перешло в интерес, а интерес — в уважение, признательность, любовь, ибо на этом пути нет пределов, кроме ставимых нашими собственными несовершенствами. Для латышей русская культура Латвии должна быть доброй помощницей, «сочувственницей», проводницей не только в парадные залы русского творческого гения, но и в его тайны. Мне кажется, что обстоятельства были столь неблагоприятны, что мы упустили очень много шансов открыть латышам лучшие достижения русской культуры, и это — наш грех, а не их. К тому же и мы были «ленивы и нелюбопытны» к культуре нашего соседа, зато бдительны и императивны в атаках «своей» антикультуры на «чужую» культуру. Для русских, живущих в России, русская культура Латвии должна стать предупредительной советчицей и помощницей, которая вводит в здание латышской культуры, предлагает наиболее целесообразные пути и способы ориентации в нем, помогает понять и получить лучшее из того, что собрано в этом зале и что делается в нем сейчас. Во всех этих своих задачах русская культура Латвии должна быть динамичной, точной, благожелательной, и кажется, что она сейчас готовится и к погашению своих долгов (за себя и за всю русскую культуру), и к выполнению своих внутренних задач. Определенный оптимизм в этом отношении имеет основания. Но эта русская культура прописана в Латвии, и у нее две родины. Поэтому заключить

тему этой русской культуры хочется латышской темой, взятой в оптимистическом модуле. Русская культура-личность должна протянуть руку латышской культуре, но не свысока, а как знак покаяния и искупления вины, не ей или не только ей принадлежащей; не сжатыю в кулак или сложенную в кукиш, но раскрытую навстречу другому, этому близкому «чужому», чтобы пожать устремленную навстречу его руку, чтобы обнять другого и восстановить у него доверие к себе, чтобы увидеть в нем его Я и дать ему увидеть «свое» Я. Эта работа трудна и долговременна, бескорыстна, но благодарна.

Деформированный характер существующих отношений вынуждает обратиться к вопросу, который, по сути своей, ясен, но все-таки должен быть поставлен — а нужна ли латышам русская культура и этот очаг русской культуры в Латвии, ее представляющий? Или они в лучшем случае согласны его терпеть? Или даже хуже — может быть, они против этого очага, считая, что он самим своим присутствием вольно или невольно подавляет латышскую культуру, отнимает у нее место, вытесняет и деформирует ее? Этот вопрос важен и принципиален. И здесь нет иного выхода, как положиться на трезвость, мудрость и чувство достоинства латышей Латвии, латышской культуры, на те качества, которые вызывают глубочайшее уважение и у русского человека. Я думаю, что выбор будет сделан правильный. Латвия не тот замкнутый в себе и от всех огражденный феодальный Китай старого «китайско-европейского» мифа. Тяжкой была бы судьба латышской культуры, если бы она ограничилась изоляционизмом и только охранительной функцией и соответствующими ей задачами. Иногда сохранение «своего» лучше и проще всего достигается не прочностью ограды, а ломкой ее, выходом наружу, навстречу неизвестности, которая вызывает опасения, но и вместе с тем сулит приумножение своих богатств. Латышская культура должна не мумифицироваться (слава богу, сегодня ей это, кажется, не грозит), но развиваться, обогащаться, цвести новыми цветами, прекраснейшими тех, что были раньше.

БЛАГОУХАНИЕ СЕДИН

5

Полонский, как я понемногу убеждаюсь, считает себя обиженным, непринятым . . . прозанком.

Он, по пятницам, все чаще усаживает меня около себя, бесконечно рассказывает о себе, о своих литературных успехах . . . и «неуспехах», потому что, как он жалуется, его «ославили» поэтом и совершенно знать не желают его прозы. Между тем проза — повести, романы — ближе его сердцу, чем стихи, и написал он их не мало, пожалуй, не меньше, чем Тургенев.

— Что — стихи! И Тургенев писал стихи. Прескверные, положим . . . Кроме поэмы. Поэтому его я любил . . .

Кончались эти разговоры (недолгие, гости отвлекали) тем, что Яков Петрович тяжело подымался со своего обычного места, стуча костылями ковыляя к шкафику у боковой стены, и вытаскивал нерезрезанные экземпляры своих романов и повестей.

— Прочтите, прочтите. — ворчал он, делая на книгах нежные подписи. — Вот, сами судите. А как прочтете — я вам и другие тома дам. И напишите мне, что думаете.

Провожал меня с этими книгами нежно, благодарно — за то, что я буду их читать.

Случалось, что сам потом досылал мне новые тома. У меня долго хранились его письма, длинные, обстоятельные, история каждого романа — и опять негодующие жалобы, что проза его недостаточно оценена.

Почему он вдруг избрал меня в критики, и что ему был мой юный суд? Думаю, потому, что всем уже успел эти книги передавать, всех переслушать, а я — свежий человек, да и молодой «литератор» — новое поколение. Ну вот, еще раз послушать, что скажут о его прозе, которую он, наверно, в глубине души, считает не хуже тургеневской, а может быть, и лучше.

У меня создалось впечатление, что именно по отношению Тургенева у Полонского было обиженное чувство. Все признают Тургенева, а его, Полонского, проза — неизвестна . . .

Тут я опять сделаю маленькое отступление. Через много лет, уже во время войны, вот что рассказывала нам о Тургеневе и Полонском Мария Гавриловна Савина.

Она приехала поздно, с какого-то концерта, в белую весеннюю ночь. (Последний раз: той же осенью она умерла.)

Савина рассказывала неповторимо. Можно спорить о ней как об актрисе, но рассказчица она была гениальная. Очаровательный юмор в ее речах, то нежный, то злой — и всякий раз не в бровь, а прямо в глаз . . .

С Тургеневым у них был когда-то «голубой» роман. И до дня его смерти не прекращалась переписка. Савина рассказывала нам об его последних годах, о Кларе Милнч . . .

— А когда он написал «Песнь торжествующей любви» — я как раз гостила у него в Спасском-Лутовине. И Яков Петрович Полонский тоже, они ведь были большими приятелями. Иван Сергеевич предложил нам прослушать только что оконченную вещь.

Окончание. Нач. см. «Даугава», № 9.

Это и была «Песнь торжествующей любви». Читал вечером, на балконе, при свечах. Было самое начало лета, все цвело, и к ночи, тихой и теплой, сад особенно благоухал. Тургенев волновался, я чувствовала, что эта вещь ему дорога, у него даже голос звенел. Когда кончил — Полонский помолчал некоторое время, а потом встал и басом своим недовольно зарокотал: он-де ничего не понимает, и что это тут напущено . . . «Эта вещь тебе — нет, не удалась . . .» Тургенев не возражал, не спорил, но я сердцем чувствовала, как его Полонский своим отзывом на месте убивает. Притом я чувствовала, что Полонский говорит вздор, по глупости или по зависти, уж не знаю . . . А сама я не могла ничего сказать, не могла, не умела . . . Но Тургенев, верно, понял, что у меня на душе. Мы потом, — Полонского уже не было, — сошли вдвоем в темный сад и долго молча ходили, среди благоуханья трав, и на скамейке так же молча сидели, и точно я этим как-то по-женски, по-бабьи, без слов его утешила, молчаньем сказала ему все, что хотела . . . А сад, и тихая ночь мне помогли.

Романы Полонского, конечно, были непохожи на «чепуху» вроде «Песни торжествующей любви». В то старое время, они, даренные таким настоятельно-ласковым Яковом Петровичем, мне, пожалуй, нравились. Но ничего, ни тени от них не осталось в памяти. Даже странно, ведь прочитанное в юности, какое бы ни было, всю жизнь помнится. А тут — до тла исчезло. Должно быть, не так уж несправедливы были те, кто ценил прозу Полонского ниже тургеневской.

6

Из моих старых друзей и знакомых единственный, живший менее особняком, старавшийся поддержать какую-то «литературную среду» — был Петр Исаевич Вейнберг. Правда, он и не был таким всепризнанным русским «поэтом», как Полонский, Плещеев, Майков. Его почитали, уважали, знали; его «Море» обожала молодежь, но . . . все-таки он был, — главным-то образом, — переводчик, «Гейне из Тамбова», душа всех литературных вечеров, хранитель «честного» литературно-общественного направления. Худой с приятными живыми манерами, ве-

село-остроумный — он был совершенно лыс и в профиль походил на библейского пророка. Чудесная, с серым отливом, борода его — не плещеевский веер: и борода у Вейнберга — как у Авраама.

Вероятно, в нем была еврейская кровь; не знаю, ибо этот вопрос никого, даже самого Вейнберга, не интересовал. Заслуженный литератор, знаток русского языка, талантливый стихотворец, всеми любимый Петр Исаевич — чего же еще? Надо сказать, что в тогдашней литературе «еврейский вопрос» вообще мало существовал (только с Надсона начал выдвигать его Буренин). А в «старой» литературе он решительно не имел места и значения. Не имел значения даже в глазах таких «нелиберальных» писателей, как Майков, друживший с Тertiем Филиповым, или Полонский, близкий Победоносцеву.

Как бы то ни было, мне никогда, ни от одного старого, настоящего писателя не случалось ничего об этом слышать. Даже сам Суворин, в разговоре, стеснялся касаться еврейского вопроса, чувствуя, верно, что это, по коренным литературным традициям, «не принято». Мало того: гораздо позже, чуть ли не в 1906 г., на мое резкое письмо к нему по поводу его отношения к евреям, конфузливо написал: «. . . что я могу вам на это ответить? Ничего я не могу ответить . . .»

Настоящая, исконная «литературная среда», хотя существовали тогда уже разные кружки, Шекспировский и «понедельничное» Лит. Общество, — была все же только у Вейнберга. Он жил один, очень скромно. В его «подвале» на Фонтанке, — маленькой квартирке у Аничкова моста, — кого не встретишь! И не в отдельных писателях было дело, а именно в атмосфере литературной, в среде.

Но Вейнберг, так нежно, так верно любивший литературу старую, так знавший и ценивший ее традиции, даже был, интересовался и новым, и, пожалуй, более других. Он пытался схватить и понять, как умел, движение литературы во времени. Может быть, чувствовал, что ему суждено пережить почти всех своих сверстников (он и Чехова пережил!), что, как-никак, придется не одну еще перемену увидеть. Да и был у него гибкий и живой дух.

Очень скоро, едва занялась заря декадентства (почти и не занялась еще), он дерзнул пригласить на традиционный вечер литературного фонда (ежегодный вечер в зале Коммерческого Училища) — меня. Надо знать тогдашнюю атмосферу, тогдашнюю публику, «старую» молодежь, чтобы понять, что со стороны Вейнберга это была действительно дерзость. Из году в год он устраивал эти вечера. Из году в год там читали Плещеев, Майков, Григорович, Потехин, сам Вейнберг, прежде, когда был здоров — Полонский, а когда были живы — Тургенев, даже Достоевский...

И опять старики, тот же Григорович, Вейнберг и — я! Вейнберг, положим, очень хорошо относился ко мне лично, однако была у него тут немножко и шалость: вот вам, не одни мы, послушайте-ка и новенького! Мы порою чувствовали себя с ним, как проказливые дети. Подымется шум — Вейнбергу и горя мало: пусть пошумят, тем веселее. Сам, бывало, выйдет со мной на эстраду несколько раз. А в конце, для полного успокоения, прочтет свое «Море», — делая, впрочем, вид, что оно ему смертельно надоело, — он только уступает требованию публики.

Примешивая к старикам более молодых, Вейнберг приучал к ним, малопомалу, публику. Но очень «малопомалу»; добрая старая традиция все-таки преобладала на вечеру Фонда.

Майков при мне читал только раз. Он читал очень хорошо. Был сухой, тонкий, подобранный, красивый, с холодно-умными, пронзительными глазами. В чтении его была та же холодная пронзительность и усмешка. Особенно помнится она мне вот в этих двух строках (из стихотворения «Дождь и Догаресса»):

... Слышит — или не слышит?
Спит — или не спит?

Удивительно читал он и «Три смерти»:

Простите, гордые мечтанья,
Осуществить я вас не мог.
О, умираю я как Бог
Средь начатого мирозданья!

Конечно, Майков был самый талантливый из всей плеяды поэтов того времени. Какой-то одной, нежной, черточки не хватало его дарованию; оттого, вероятно, он и забыт так скоро, и никогда не был любим, как Фет, на-

пример, который, по-моему, куда ниже Майкова.

Близки мы с Майковым никогда не были (да и кто был с ним близок? не припомню). Встречались часто, иногда он бывал у нас. Одно время увлекся романом Мережковского «Юлиан» и даже устраивал у себя чтения этого романа.

Со всем не производил впечатления «старика», так был бодр и жив. Смерть его показалась неожиданной; но в литературных кругах прошла почему-то не очень заметно. Впрочем — не знаю, нас тогда в Петербурге не было.

На вечерах Фонда и на других, им подобных, меня всего более занимала «артистическая». Там пришлось мне видеть буквально всех известных и полуизвестных людей своего времени. Вот Фигнер, — еще совсем молодой человек с каштановой бородкой, ходит, в ожидании своего номера, из угла в угол, — волнуется. Жена его, красивая итальянка, Медея Фигнер, тоже ходит, по другой диагонали; тоже волнуется. Я с удивлением гляжу: оперные певцы, чего они волнуются? Они уверяют меня, что это всегда, перед выходом. Профессиональное, должно быть. Савина, впрочем, сидит спокойно за столом и пьет чай. Короленко, уже седеющий, коренастый и черноглазый, говорит, кажется, с Гариным: высоченный беллетрист, написал «Детство Темь», которое все хвалят; мне — не нравится.

Но перейдем из этой светлой комнаты в другую, как бы совсем «за кулисы». Там сейчас интереснее. Там тесный кружок участвующих и неучаствующих писателей. Душа кружка — Григорович. Он рассказывает «анекдоты» (он вечно что-нибудь рассказывает) — вполголоса, чтобы не слышно было в зале. Времени много, потому что читает Ольга Шапир — «О любви», Вейнберг только что заглядывал в залу и объявил:

— Все пока прекрасно. Спит только один. Она еще не дошла до середины.

Григорович всегда рассказывает потрясающие вещи. Говорят, что он половину выдумывает, но не все ли равно, если интересно.

Мне долго не верилось, что это тот самый Григорович, автор с детства знакомых «Проселочных дорог», «Антон Горемыки». На портретах он — полный господин с бакенбардами.

А этот — высокий, тонкий, подвижной, белая бородка у него коротко подстрижена (под Тургенева).

Мы с Григоровичем большие приятели. Постоянно встречаемся, весело болтаем. Он любезно меня расхваливает:

— Пишите! Пишите!

И даже крестит маленькими крестиками, благословляя мой дальнейший литературный путь. А маленькие крестики — потому что нельзя же размахнуться большими где-нибудь на-людях, даже в «артистической».

В артистической, то есть во второй, «за кулисами», он и рассказывал нам про Достоевского. Подробно и картинно описывал, как отца Достоевского, из врача сделавшегося помещиком, возненавидели мужики и в роще разорвали, на глазах сына, Федора Михайловича, тогда еще мальчика. Я помню, что он говорил «на глазах» и спрашивал: «Ну мог ли Федор Михайлович забыть это? Мог ли? Это очень многое объясняет...»

Никто из нас такого рассказа ранее не слышал, и всех он потряс. А я и до сих пор не знаю, правда ли это или нет.

7

Неиссякаема была веселость и остроумие П. И. Вейнберга, как неиссякаемы его экспромты. Не существовало слова, на которое он тотчас не открыл бы рифмы. Переписывались мы с ним всегда стихами. У нас бывал он часто. Взбирается на наш пятый этаж — что ему труденько — и пока взбирается, уже сочинил длинную оду, которую с порога декламирует, заканчивая:

А затем, si vous aimez.

Вот конфеты от Гурмэ.

В конце вечера все мы, небольшим кружком человек в 6—7, начинаем соблаговещивать, куда бы поехать ужинать? К Палкину? К Донону? Я и Мережковский предлагаем — в Медведь. Спорят. Но тамбовский Гейне, песенки которого, вроде песенки о титулярном советнике и генеральской дочери, были некогда у всех на устах, подхватывает:

Хозева сказали ведь,
Ну и поедем в Медведь!

И ехали, и там опять веселил Петр Исаевич своими экспромтами, рас-

казами о «преданьях старины глубокой». Был настоящий кладезь этих литературных преданий. Знал даже, что такое «безобразный поступок Века», журнала, о котором все забыли со всеми его поступками. Для будущего собирателя древних литературных мелочей скажу вкратце, что это был за «поступок»: либеральный журнал какой-то, или общество — устроило литературный вечер и выпустило на эстраду очень красивую даму (чуть ли не тоже литературную) в Египетских Ночах Пушкина. Дама столь выразительно прочла:

Кто к торгу страстному
приступит?
Свою любовь я продаю! —

что вызвала бурю — несколько двусмысленных — восторгов. По поводу этих восторгов «Век» обрушился на устроителей вечера, да отчасти и на даму. Поднялась жаркая полемика, припутали к ней «женский вопрос», — и Век (в нем тогда участвовал брат Достоевского) вместе со своим «безобразным поступком» — посягнувшем на «женскую свободу» — был посрамлен.

Раз как-то Вейнберг принес мне, вместо конфет от Гурмэ, красную сафьянную тетрадь для стихов. На первом листке шутовское посвящение:

Хоть у вас седьмой этаж,
Но любовь моя вся та ж,
Как была бы, если б вы
Жили ниже дна Невы.
Справьтесь в сердце вы любом,
Чувства нет нигде такого,
Как в дарящем сей альбом
Старом

Гейне из Тамбова.

И затем, впоследствии, внизу приписано:

Три года прошло, леденеет уж
кровь,
Но к вам — точно так же пылает
любовь.

(Эта тетрадь, где записывались потом и мои стихи целых 15 лет, пропала в Совдепии вместе со всем моим архивом, далеко не лишенным исторического интереса.)

Вейнберговская нежность к литературе вовсе не была только книжной. Вечно заседал он в каких-то комитетах, в Фонде работал бессменно, принимал всю мелкую литературную

братию, бедствующим устраивал ссуды. Всех приходящих к нему, даже просто графоманов, терпеливо слушал. Кого следует — вышучивал, но с таким веселым, добрым юмором, что на него не обижались и графоманы.

Время, однако, шло. Старики, сверстники Вейнберга, — уходили, умирали. В литературе народились новые течения. Вейнберг не мог примкнуть к ним, конечно, да и попыток к тому не делал, слишком был искренен. Но он по-прежнему относился ко всему новому с интересом и благостью: не была ли это все та же «русская литература», верным рыцарем которой он оставался?

Старческие немощи уже одолевали его (как он добродушно над ними шутил!). Ездил лечиться за границу, — мы раз случайно встретились с ним в Германии. Тогда умер Чехов — помню, как огорчился, даже возмущился этой смертью П. И.: высоко его ценил. Впрочем, раньше как-то создавался, что в Чехове ему чужд подход к жизни «уж очень мелочной, хмурой, без положительного... А ведь талант какой, тургеневский!» Я еще поддразниваю: «Положительного! Вы привыкли к писателям с «идеалами!» Теперь другие песни!»

Горького Вейнберг определенно не терпел, хотя и за ним признавал талант. В Андреева просто ничего не понимал, и даже не хотел понимать, отмахивался от него. Мы часто болтали о современных писателях. Раз он сказал мне о Бунине, которого почему-то в Петербурге мы мало знали: «этот — хороший писатель, крепкий. А только...»

— Только что? И он без «идеалов»?

— Нет а что он любит? Надо ведь писателю что-нибудь без оглядки любить...

Вообще Вейнберг не просто принимал всякий новый ветер, откуда бы он ни дул. Посильно разбирался, очень присматривался. Наиболее типичный из «стариков», один проживший несколько лет среди «новых» течений — не литературы только, но и жизни — он был очень показателен. Где неизбежный разрыв между поколениями, где необходимая связь? Есть ли связь? Куда повернули дети, куда пойдут внуки?

При начале неорелигиозных веяний Вейнберг нередко приходил к нам (уже на третий этаж, но и это было ему трудно). Приходил — и долго, серьез-

но расспрашивал, откуда этот уклон к религии, что он означает, что думаем мы.

Он называл себя материалистом. О, конечно. Все они, люди 40—70-х годов, так себя называли. Но было бы грубой ошибкой — я подчеркиваю это, я настаиваю на этом — смешивать «материализм» Плещеева, Вейнберга, Полонского, Майкова, Григоровича и тысячи их современников, просто русских интеллигентов, — с материализмом позднейших поколений. Это, так называемый «научный», всегда туп и нетерпим, роковым образом самодоволен. Он представляет из себя известный культурный срыв и неизменно кончается потерей понятия личности.

Ничего похожего на такой «материализм» не было у наших знаменитых (и незнаменитых) «стариков». Они просто не имели еще соответственных слов для изменившихся, по времени, чувств своих; называли себя «материалистами» в отличие от прежних бездумно «верующих»... церковников; но они, ей-Богу, и не понимали вовсе, что такое «материализм». Они сохраняли в целостности дух человеческие чувства, ни одно не было выщерблено — какие же они материалисты?

Впрочем, вопрос этот столь же интересен, сколь сложен, и я пока скажу одно: если уж называть русских людей того поколения материалистами, — то разве идеалистическими, романтическими материалистами. Я не исключаю ни Белинского, ни Писарева, ни Чернышевского, ни даже Базарова, — стоит перечесть «Отцов и детей»! — Лишь тонкая пленка бессознания отделяла их от подлинной религиозности. Поэтому и были они, в большинстве случаев, «носителями высокой морали» (это старомодное выражение вовсе не смешно). Поэтому и могли в то время появляться люди крепости душевной изумительной (Чернышевский), способные на подвиг и жертву*). Настоящий материализм гасит дух «рыцарства». А скажут ли, что не было этого духа в тогдашней литературе нашей, да и во всей русской интеллигенции?

* Было бы интересно сравнить эти два тома «Писем к жене»: Чернышевского из ссылки, из далекого, в снегах затерянного, городка в Сибири, — и Чехова из Ялты, которую он тоже называл местом своей «ссылки».

Но я говорю сейчас не об интеллигенции, не о путях ее, так страшно потом разделившихся, а лишь об одном из ее представителей, о скромном рыцаре старой русской литературы — о Вейнберге.

Он слушал печально и жадно то, что мы ему говорили. Да, но что ж, если он — «не верит»? И правда: за сколько долгих лет привык он думать, что не верит! Разве словами, в полчасика, можно победить привычку?

Но вставая, уже уходя, он вдруг сказал:

— А, должно быть, «там» все-таки что-то есть. Я ее видел.

Мы поняли, что «она» — женщина, которую он всю жизнь любил, умершая несколько лет тому назад.

— Как видели? Когда?

— Видел, вот как вас сейчас вижу. И не раз, а раза два-три за эти годы. Я лежу в постели, утром или вечером, — и вдруг она войдет и сядет рядом. И говорит со мной, только не знаю, слышу ли я ее слова — или вижу, что она думает. Странно, я даже в первый раз не испугался и не называл ее мысленно «привидением»... Тогда и пришло в голову, что, пожалуй, «там» что-то есть...

Подумал, улыбнулся и прибавил, с прелестной своей, привычной, иронией:

— А может, это уж от старости... Признаки слабоумия старческого... Кто знает? Я знаю только, что видел ее, и в смерть ее с тех пор не верится...

Мы скоро после японской войны уехали за границу и в последние годы с Петром Исаевичем Вейнбергом не виделись. Он скончался в Петербурге, кажется — летом 1908 года.

8

Рассказ мой о «благоуханных сединах» людей, встреченных на заре юности, — окончен. Тут следовало бы поставить точку. Если я расскажу об единственной моей встрече еще с одним старцем, — яснополянским, — то уже в виде приложения. От моей темы я не отступаю: благоухание этих седин знает весь мир. Но встреча наша произошла поздно, в 1904 году, была почти мимолетной и рассказ о ней будет краток.

Поехать к Толстому? Увеличить толпу и без того утомляющих его посети-

телей? Но у Мережковского были особые причины желать этого посещения, — отчасти паломничества: только что выпустил он свою трехтомную книгу о Толстом («Л. Т. и Достоевский»), где был к Толстому не совсем, кажется, справедлив, и только что произошло знаменитое «отлучение» Толстого от церкви, акт, всех нас тогда больно возмущивший. Словом, чувствовалось не то что любопытное желание «взглянуть» на Толстого, а просто какое-то к нему влечение.

Мы стороной решились узнать, когда можем и можем ли приехать, не обеспокоив — и лишь получив, через Сухотиных, записочку, прямое приглашение (и даже маршрут!), поехали в Ясную Поляну.

На станции нас ждут лошади. Начало мая. Светло, только что пробризнул холодный дождь. Над полями пронзительно поют, точно смеются, жаворонки. В аллее, когда мы подъезжали к дому, деревья роняли на нас крупные радужные капли.

Внизу, в маленькой, не очень светлой, передней к нам навстречу выбежала (действительно выбежала) полная, но еще стройная женщина: это Софья Андреевна.

— Ах, вот они!

Вмиг овладела нами, распорядилась, повела нас в приготовленные две комнаты, — это были комнаты совсем внизу; кажется, в одной из них помещалась когда-то рабочая комната Льва Николаевича, — она есть на рисунке Репина.

Пока Софья Андреевна вела нас туда — успела рассказать, что осталась на сегодняшний вечер только для нас, что завтра в 6 часов утра должна ехать в Москву — «все по делам изданий!» — но чтобы мы не беспокоились, она уже отдала все распоряжения насчет лошадей (мы уезжали на другой день с двенадцатичасовым).

— Вот поправьтесь с дороги и приходите наверх, сейчас будем обедать!

Убежала. Ее живость меня сразу привела в удивление и даже слегка обеспокоила.

Мы в длинной столовой-зале, с окнами на обоих концах. Стол тоже длинный. Народу много, но не очень; все, кажется, родственники.

Софья Андреевна знакомит, хлопочет:

— Садитесь, садитесь! Лев Николаевич сейчас выйдет?

Мы уже начали усаживаться, когда из дальней двери налево, шмыгая мягкими ичигами, вышел небольшой, худенький старичок в подпоясанной блузе. Длинная блуза топорщилась на осутуленной спине.

Он шаркал довольно быстро, тотчас стал здороваться. Но меня поразило, почему-то, что он — маленький. Это — Лев Толстой? Если все бесчисленные портреты, которых мы навиделись так, что они точно вросли в нас, если они — Толстой, то этот худенький старичок не Толстой. Словом — не могу их соединить, нового живо-го — с неживым и привычным.

Софья Андреевна сидит на конце стола, я — сбоку, налево от нее, Толстой направо, прямо против меня. Стол узкий, я вижу хорошо и серую блузу, и редкую седую бороду, слегка впадающую в желтизну, и темные, густые брови: они как-то не грозно, а печально нависают над глубоко сидящими глазами. Глаза детские — или старческие, — с бледной голубизной.

Толстой говорит с Мережковским; что-то о дороге, кажется, я не слышу, за столом очень шумно. Софья Андреевна ест быстро, с манерой всех блузороуких, — немножко «под себя». Не забывает потчевать пирожками. Блюда подает лакей в белых перчатках. Середина стола, вся, — в бутылках с винами. А скоро перед Софьей Андреевной (то есть и перед Толстым) воздвиглось блюдо с жареным поро-сенком — даже помню его оскаленные зубы.

Толстой, впрочем, не смотрит, но ест свое, отдельное, в маленьких горшочках, ест по-старчески внимательно, долго жует губами.

После обеда Софья Андреевна тщательно и весело показывала нам ясно-полянский дом, все картины, все портреты: «вот это — Берсы!» говорила, не без гордости, указывая на ряд потемневших полотен. В ее комнате — мольберт, она занимается живо-писью.

— А вот спальня Льва Николаевича.

Небольшая комната, белая пружинная кровать, столик, почти ничего больше . . .

Мы выходим на деревянный широкий балкон; парк, внизу, полон душистой весенней сыростью.

— Вы из Москвы за границу едете? — говорит Софья Андреевна и тотчас, обратившись ко мне, шутит:

— Вот оставайтесь здесь со Львом Николаевичем, а я, вместо вас, поеду за границу! Ведь я никогда за границей не была!

Бледными сумерками Софья Андреевна ведет нас в парк. Она, как девочка, прыгает через канавки, торопится все показать, все рассказать . . . Мы обходим кругом, она объясняет, какая роща какому принадлежит сыну, какая будет нынче сведена . . . И уже опять о завтрашней своей поездке в Москву, об изданиях, — дела, дела . . .

Возвращаемся в длинную залу. В дальнем углу, где стоит диван и кресла вокруг круглого стола — Софья Андреевна теперь за *broderie anglaise*, на диване, и низко клонится к лампе с широким белым абажуром. Толстой сидит немного в стороне, на своем, должно быть, кресле, в привычно-усталой позе. Случайных посетителей нет, только двое или трое каких-то, видно, постоянных жителей, да молчаливый мужчина в коричневом охотничьем костюме.

Привычно-усталым голосом Толстой говорит привычные вещи. О жизни . . . О молитве . . . Но Софья Андреевна и тут, схватывая момент, успевает сказать напротив. Молитва? Нет, а она верит, что можно в молитве просить о чем-нибудь и непременно исполнится. Толстой заговорил неодобрительно о современных стихотворцах, упомянул Сологуба . . . Софья Андреевна срывается с места, хватает с рояля номер иллюстрированного журнала и прочитывает вслух стихотворение Сологуба.

— А мне — нравится! — говорит она не без вызова, возвращаясь к *broderie anglaise*.

Скоро мы перешли на другой конец залы, к чайному столу. Чай пить явились не все сразу. И очень быстро, один за другим, исчезали. А Толстой тут-то и стал оживляться. Сам затеял разговор. Слушали его лишь какие-то два, крайне молчаливых, человека. Даже Софья Андреевна ушла (завтра к раннему поезду вставать!), протрившись с нами весело и прелюбезно.

Разговор, в подробностях, забылся, скажу лишь о том, что помню наверное. Да и говорил Толстой, вероятно, то, что всегда и многим говорил, что много раз записано, но тон был очень оживленный и чувствовалось, когда он обращался к Мережковскому, что книгу его о себе он читал. (Так оно и было: Толстой все читал, знал всю сов-

ременную литературу. Даже наш религиозный журнал «Новый Путь» читал!»

— Все хочу настоящей дневник начать, и не могу. Ведь если б записать правдиво хоть один день моей жизни, ведь это было бы так ужасно . . .

— Как, — перебивая я, — теперешней вашей жизни?

Толстой кивает головой: да, да, теперешней . . .

Мне странно. Что это? Такая бездна смирения? Чем он считает себя так грешным — теперь?

Мы говорим, конечно, о религии, и вдруг Толстой попадает на свою зарубку, начинает восхвалять «здравый смысл».

— Здравый смысл — это фонарь, который человек несет перед собою. Здравый смысл помогает человеку идти верным путем. Фонарем путь освещен и человек знает, куда ставить ноги * . . .

Самый тон такого преувеличенного восхваления «здроваго смысла» раздражает меня, я бросаюсь в спор, почти кричу, что нельзя в этой плоскости придавать первенствующее значение «здравому смыслу», понятию, к тому же, весьма условному . . . и вдруг спохватываюсь. Да на кого это я кричу?

Ведь это же Толстой! Нет, я решительно не могу соединить худенького, упрямого старичка с моим представлением о Льве Толстом. Не то, что этот хуже или лучше: а просто Львов Толстых для меня все еще два, а не один.

В сущности же маленький старичок говорит именно то, что говорит и пишет Л. Толстой все последние годы. Я понимаю, что Толстой — «материалист». Но я понимаю (утверждаю это и теперь), что Толстой — совершенно такой же «материалист», как и другие русские люди его поколения, религиозно-идеалистические материалисты. Только он, как гениальная, исключительной силы личность, довел этот идеалистический материализм до крайней точки, где он уже имеет вид настоящей религии и отделен от нее лишь одной неуследимой чертой.

Переступил ли ее Толстой? Переступал ли в какие-нибудь мгновения жизни? Вероятно, да. Думаю, что да. Мы говорили о воскресении, о личности. И вдруг Толстой произнес, ужасно просто, — потрясающе просто:

* За точную дословность не ручаюсь.

— Когда умирать буду, скажу Ему: в руки Твои предаю дух мой. Хочет Он — пусть воскресит меня, хочет — не воскресит, в волю Его отдамся, пусть Он сделает со мной, что хочет . . .

После этих слов мы все замолчали, и больше уж не спорили ни о чем.

Утром, часов в восемь, мы столкнулись, выходя из своих комнат, со Львом Николаевичем в маленькой передней. Он возвращался с прогулки, бодрый, оживленный, в белой поярковой шляпе.

— А я к вам стучал, чтобы вместе пройти, да вы еще спали! Пойдемте чай пить.

На невысокой внутренней лестнице, ведущей в залу, он остановился на минуту вдвоем с Мережковским и сказал, глядя ему в лицо старчески-свежим взором:

— А я рад, что вы ко мне приехали. Значит, вы уж ничего против меня не имеете . . .

В столовой было пусто. Кто-то — не помню кто — разливал чай, но пили мы его втроем. Чай вкусный, со сливками, со свежими булками.

Хозяйки не было, но в «графском» доме шло все по заведенным порядкам. Слуги приходили и уходили бесшумно. Метрдотель принес даже «его сиятельству» меню на утверждение: видно, такой был издавна обычай. Толстой бегло взглянул (и что бы он стал там читать и обсуждать?), сделал утвердительный и слегка отстраняющий жест рукой, метрдотель ушел, удовлетворенный.

Все это утро мы проговорили втроем. Толстой был весел, куда веселее вчерашнего. Коренных и спорных тем не касались, говорили хорошо обо всем. Тут-то и выяснилось, между прочим, что Толстой все читает и решительно за всем следит.

Подали лошадей. Толстой вышел нас проводить на крыльцо. Трава блестела, мокрая от ночного дождя. На солнце блестела и белая, с желтизной, борода Льва Николаевича, а сам он ласково щурился, пока мы усаживались в коляску.

И мы уехали — опять через поля, где еще пронзительнее вчерашнего пелись жаворонки . . .

Это — в виде «приложения». А вот для эпилога, последнее . . . не воспо-

минание, а упоминание еще об одном человеке, овеванном благоуханьем седина. Рассказывать о нем не нужно, он жив, все знают о нем столько же, сколько я; о своей жизни, замечательной и волнующей, он расскажет сам, если захочет... Это — Николай Васильевич Чайковский.

О, конечно, он моложе тех, друзей моей юности. А все-таки он не сын их, он — младший брат. Он того же поколения и шел тем же путем, каким шли они. Только он успел, как младший, сделать на этом пути еще один, последовательный шаг. Н. В. Чайковский — уже не романтик-идеалист, называющий себя «матерналистом». Но и не имеет идеализм его облика религии, только облика. Оставаясь по существу таким же, какими были лучшие люди

его поколения, — Н. В. Чайковский исповедует христианскую религию.

Если знали многие из сынов тех лет России настоящую юность, если благоухали в старости их седина, — не оттого ли, что зерно религиозной правды тайлось в душе каждого? И напрасно обманывать себя: не будет та поросль истинно молодой и живой, которая не пойдет от крепких, старых корней.

Не надо возвращаться к старикам. Не надо повторять их путь. Но «от них взять» — надо; взять и идти дальше, вперед... и тогда уж, пожалуй, действительно «без страха и сомненья».

1924 г.



Плакат с выставки «Угар сталинского романтизма».

Фото Олега Зернова

Улдис ТИРАНС

БУРАТИНО И КОММУНИЗМ

Плакат прежде всего должен быть чрезвычайно острым.

М. И. Калинин

Разрешите напомнить факт феноменологического подвижничества маленького деревянного человечка, носом проткнувшего нарисованный очаг в каморке папы Карло.

В начале июля, в выставочном зале «Ригас модес» на улице Ленина, за 1 рубль было предложено посмотреть на то, на что мы уже насмотрелись даром. Через нарисованное окошко советского сознания можно полюбоваться маленьким коммунизмом, который как-то был обещан, за который вот мы, сегодня, немножко недоели, а вчера другие — немножко недожили. Это окошко в страну Я-другой-такой-не-знаю — плакаты пика эпохи сталинского держиморда¹.

¹ Безусловно, самое занятное на выставке «Угар сталинского романтизма» — это именно сам факт выставления некоторых предметов нашей действительности как объектов для созерцания, то есть сам факт того, что кому-то пришлось в голову представить на обозрение то, что и без этого предназначено для всеобщего рассмотрения. [Идет мимо колхозник, вдруг увидел плакат и надолго остановится и станет разбирать, что там изображено. И чем пристальней народ будет смотреть, тем большего эффекта этот плакат достигнет». — М. И. Калинин.] Это симптоматично, и такими вещами уже занимался, в частности, соц-арт. А симптоматично это потому, что характеризует процесс распада некой целостности сознания — монстра социалистической идеальности, состоящего из догматики Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, а с другой стороны — из нашей невозможности пробиться че-

в своей длинной истории советский плакат выдвинулся в знаменосцы реалистического высококондейного искусства², замечательные образцы которого «нашли себе достойное место в постоянной экспозиции Государственной Третьяковской галереи среди лучших произведений русского и советского изобразительного искусства»³. По определению, плакат — «произведение изобразительного искусства, создаваемое в целях массовой агитации»⁴, «требующее глубокого содержания, доходчивой, совершенной формы»⁵. Ну, а «наиболее значительное

рез кошмары «надстройки». В этом смысле глыба коммунистического сознания — и вправду «великая, нерушимая». Скажем, многие с безразличностью отворачиваются от кликушества идеологов коммунизма, однако остаются зависимыми от этой идеологии. А на уровне самоопределения коммунистической идеологии, в силу присвоения ею атрибута истинности, сама возможность иновидения того, внутри чего все мы находимся, отрицается, вернее, запрещается. (Отсюда важность постоянного присутствия внешнего врага.) И советский политический плакат — один из знаков закрытости социалистической идеологии, то есть он является знаком тотальности идеологизированного сознания этого общества.

² Герасимов А. М. За социалистический реализм. М., 1952. С. 166.

³ Каталог выставки советского плаката. М.—Л., 1950. С. 4.

⁴ Дараган С. С. Творческая работа над плакатом. М., 1952. С. 3.

⁵ Улучшить качество политического плаката («Правда», 25 апр. 1952 г.). По правде говоря, все определения плаката осно-

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

место среди них ... занимают плакаты о советском патриотизме, о руководящей роли Коммунистической партии и плакаты, посвященные великому вождю человечества — товарищу Сталину⁶. Плакат был демократичен — он удовлетворял потребности в прекрасном у пролетариата, он был прост и понятен для партийного работника, и выражал он руководящую роль, разъясняя народу решения партии и Советского правительства; да и подписи были веселыми, вроде: «Работать, строить и не ныть! Нам к новой жизни путь указан. Апетом можешь ты не быть, но физкультурником — обязан»⁷.

Настойчивое подчеркивание агитационной роли плаката слилось с агитационными требованиями по отношению ко всему соцреализму: в результате все советское искусство стало плакатным — ведь требования, предъявляемые к политическому плакату, в сущности наиболее явные требования партии к искусству вообще. «Благородна и почетна задача советских художников — правдиво воссоздать во всей духовной красоте образы передовых людей сталинской эпохи, одухотворенных великой целью строительства коммунизма, раскрыть глубину их мыслей и чувств, их высокую сознательность и культуру»⁸.

И плакат стал неотъемлемой частью советского пейзажа — согласно заветам папы Карло. «Еще в 1918 г. Владимир Ильич позвал меня и заявил мне, — рассказывает А. В. Луначарский, — что надо двинуть вперед искусство как агитационное средство. При этом он изложил два проекта. Во-первых, по его мнению, надо было украсить здания, заборы и т. п. места, где обыкновенно бывают афиши, боль-

шими революционными надписями. Некоторые из них он сейчас же предложил. Второй проект относился к постановке памятников великим революционерам в чрезвычайно широком масштабе...»⁹.

И советский плакат, как говорят, «прочно вошел в жизнь и быт советского народа»¹⁰; он распространяется по стране «в сотнях тысяч экземпляров... часто становится украшением не только колхозного и рабочего клуба, но и жилища»¹¹. Таким образом, в социалистическом бытии плакат становится носителем определенной компенсаторской функции, заменяя своим бумажным телом настоящее мясо и защищая им же зияющие дыры советландии. Агитационный плакат¹² — а именно это одна из основных декларируемых задач политического плаката — в полной мере участвовал в построении из небытия, создавая тот дивный, призрачный мир, где все сыты «Кратким курсом истории ВКП(б)». В этом смысле и вправду «история советского политического плаката — история его участия в борьбе за коммунизм»¹³.

В этом же смысле можно говорить и о народности советского плаката. Ведь субъективность художника (хоть она и отмечалась премиями Сталина) отражала волю и представления партии, вернее Сталина; художник был как бы лишь ступенью нисхождения истины (данной, говоря словами Сталина, «руководящей группой, скажем,

⁹ Ленин о культуре и искусстве. М.—Л., 1956. С. 525.

¹⁰ Каталог выставки художников советского плаката. М.—Л., 1948. С. 6.

¹¹ Поволоцкая Е., Иоффе М. Тридцать лет советского плаката. М.—Л., 1948. С. 70.

¹² Да будет известно неискушенному зрителю, что различаются следующие виды советского плаката: агитационные, пропагандистские, инструктивно-технические, рекламные. К пропагандистским — а именно такие в основном были представлены на выставке — в свою очередь относятся: плакаты по пропаганде передового опыта, плакаты, посвященные показу успехов нашего народа в строительстве коммунизма, библиографические плакаты, пропагандирующие советскую литературу, научно-просветительские плакаты и наглядные пособия (См. Алеев Р. Плакат в клубе. М., 1952).

¹³ Нурок А. Ю. Советский плакат в борьбе за коммунизм. М., 1962. С. 59.

— —
вывались на руководящем указании постановления ЦК ВКП(б) «О недостатках и мерах улучшения издания политических плакатов» (1948): «... плакат является одной из наиболее доходчивых форм политической агитации и самым массовым видом советского изобразительного искусства». Больше ничего положительного сказано не было, однако и это волнами покатилося по инстанциям, головам и книгам.

⁶ Голованов Л. Ф. М., 1952. С. 222.

⁷ Нурок А. Ю. Советский плакат в борьбе за коммунизм. М., 1962. С. 45.

⁸ Улучшить качество политического плаката. («Правда», 25. апр. 1952 г.)

пролетариата, его партией»). Такое вот соцреализм — пострелигиозное искусство, где свидетельствовать нужно не о трансценденции, а о приземлении, не о царстве божьем внутри нас, а о тысячелетнем царстве в Советском Союзе. «Популярное определение метода социалистического реализма как «отображения жизни в ее революционном развитии», «инвизиального по форме и социалистического по содержанию», подразумевает такую реальность мечты, за народно-национальной формой которой проступает новое социалистическое содержание, являясь грандиозным видением строящегося партией мира — сообразно воле истинного творца и великого художника, его замыслу всеобщего художественного творения»¹⁴. Вот мы и смотрим на пла-

каты, становясь сами частью этих плакатов, — сообразно кремлевским мечтателям, — становясь бумажными коммунистами среди бумажного государства. «В центре композиции — Спасская башня. Яркий свет кремлевской звезды как бы освещает человечеству путь к коммунизму. Цветущие яблоневые ветви создают ощущение свежести, молодости и силы. Вот она, «весна человечества!»¹⁵

Вот мы и воткнулись носом в очаг вечногорящего огня. Наш маленький кукольный коммунизм закончился.

Арлекин ... прыгает в окно. Даль, видимая в окне, оказывается нарисованной на бумаге. Бумага лопнула. Арлекин полетел вверх ногами в пустоту. В бумажном разрыве видно одно светящееся небо.

¹⁴ Groyz B. Gesamtkunstwerk Stalin. — München, 1988. — S. 60. Ср. также: «Сталинское время на самом деле реализовало мечту авангарда — всю общественную жизнь организовать по всеобщему худо-

жественному плану, хотя и, само собой разумеется, не так, как представлял это авангард» (там же, с 14).

¹⁵ Алеев Р. Плакат в клубе. М., 1952. С. 10.



Плакат с выставки «Угар сталинского романтизма».

Фото Олега Зернова

КАРТОТЕКА ЮРАСОВА VII



1. АПЕТЕР Иван Андреевич (1890—1938)
Член КПСС с 1907 г. Чекист, уполномоченный ОГПУ по Центрально-Черноземной области (1928 г.). Начальник СЛОНа ОГПУ СССР (1930—1933 гг.). Незаконно репрессирован в 1937 году.
2. БАЙКАЛОВ-НЕКУНДЕ Карл Карлович (1886—8 августа 1950 г.)
Член КПСС с 1905 г. Участник борьбы за Советскую власть в Якутии. Председатель ВТ Внутренней охраны Якутской АССР. Заместитель председателя СНК Якутской АССР (1936—1937 гг.) Арестован в 1937 году, умер в местах ссылки.
3. БЕНКЕН Александр Францевич (годы жизни неизвестны)
Жил в Ленинграде (1933 г.). Арестован в 1936 году.
4. БЕНЦЕН Петр (1880—19 августа 1938 г. «ВМН»)
Член КПСС с 1911 г. Участник революционного движения в России.
5. БЕРГ Гуго Мартьянович (годы жизни неизвестны)
Работал инженером в Ленинграде (1933 г.). Незаконно репрессирован в 1937 году.
6. БЕРЕНС Карл Карлович (годы жизни неизвестны)
Жил в Ленинграде (1933 г.). Арестован в 1936 году.
7. БЕРЗИНА Анна Владимировна (годы жизни неизвестны)
Жена Берзина Г. Ю. Арестована в 1938 году как ЧСИР («член семьи изменника Родины»).
8. БЕРЗИН Георгий Юрьевич (1899—1938 (?))
Арестован в 1937 году.
9. БЕРИЛЬ Давид Павлович (годы жизни неизвестны)
Член КПСС с 1918 г. Арестован в 1938 году.
10. БЛИЦАУ Карл (1895—1943 (?))
Член КПСС с 1913 г. Арестован в 1937 году.
11. БЛЮМШТЕЙН М. А. (годы жизни неизвестны)
Член КПСС. Инструктор ЦС Осоавиахима. Арестована в 1937 году (в г. Москве).
12. ВАГРАНСКАЯ Лидия Ивановна (1909—?)
Жена Розита Д. П. (1895 г. р.). Научный сотрудник п/я 702. В 1938 году репрессирована как ЧСИР («член семьи изменника Родины»), осуждена на 8 лет ИТЛ. Отбывала ссылку до 1953 года. Реабилитирована в 1955 году.
13. ВАЛЬТЕР Оскар Антонович (годы жизни неизвестны)
Биолог, физиолог растений. Жил в Ленинграде. Арестован в июле 1941 года, погиб.
14. ВЕВЕР Герман (1895 — 14 мая 1938 г. «ВМН»)
Член КПСС с 1913 г.
15. ВИЛКС Герман (1892—8 февраля 1938 г. «ВМН»)
Член КПСС с 1909 г.
16. ГОТОВЧИЦ А. И. (годы жизни неизвестны)
Рабочий леспромпхоза. Арестован в 1937 году.
17. ГРАДЕК Карл Карлович (годы жизни неизвестны)
Брат Градека Р. К. Незаконно репрессирован в 1937 году.

18. ГРАДЕК Р. К. [годы жизни неизвестны]
Незаконно репрессирован в 1937 году.
19. ГРИНБЕРГ Вилис [1893—1938 (?)]
Член КПСС с 1912 г. Арестован 18 октября 1937 года.
20. ГРОССЕТ Георгий Эрнестович [годы жизни неизвестны]
Старший научный сотрудник института. В 1937 году арестован УНКВД [в Москве].
21. ДРЕЙФОГЕЛЬ Лилия [1887—1938 (?)]
Проживала в Харькове.
22. ЗАЛИТ Мильда [1898—1937 (?)]
Член КПСС. Журналист.
23. ЗАЛЬКАЛН Петр [?—1937 (?)]
Литератор.
24. ЗАЧЕСТ Антон [?—1937]
Журналист.
25. ЗЕЙБОТ Арвид [1894—1937 (?)]
Член КПСС. Военный работник.
26. ЗИЕМЕЛИС А. [?—1937]
Работал учителем в Ленинграде.
27. КАЛМИТ Ян [1885—1942 (?)]
Член КПСС с 1905 г. Жил в Подольске, Воронеже. Арестован в 1938 году.
28. КАПИНЬШ Микелис [годы жизни неизвестны]
Литератор. Репрессирован в 1937 году.
29. КИЗЕЛЬБАХ Федор Робертович [1890—1939 (?)]
Член КПСС с 1921 г. Бригадир на заводе в Ленинграде. Арестован 9 октября 1938 года, погиб.
30. КИРШ Юлий [1890—4 февраля 1937 г. (?)]
Член КПСС с 1912 г. Историк, начальник сектора истории Института национальностей ЦИК СССР, сотрудник Международного аграрного института [г. Москва].
31. КЛУЦИС Густав Густавович [1895—11 февраля 1938 г. «ВМН»]
Член КПСС с 1919 г. Участник гражданской войны. Художник, член Объединения латышских советских художников [г. Москва]. Арестован в Москве в 1937 году.
32. КРАСИЛЬНИКОВ Александр Александрович [1889—1941 «ВМН»]
Экономист. Жил в Эстонии, Латвии. Арестован 12 апреля 1941 года в Риге.
33. ЛАЗДА Альберт [?—1937 (погиб)]
Журналист.
34. ЛАУБЕ Иван Георгиевич [1904—?]
Работал экономистом в Ленинграде [1933 г.]. Арестован в 1937 году.
35. ЛАУБЭ Карл Эдуардович [?—27 апреля 1938 г. «ВМН»]
Член КПСС. Участник гражданской войны.
36. ЛАЦИС Юлий [?—1941 [в тюрьме]]
Комиссар народного образования Латвийской ССР [1940—1941 гг.]. Арестован 7 января 1941 года НКВД.
37. ЛЕПИН (ЛИЕПИНЬШ) Эрнст Оттович [1892—1938 «ВМН»]
Член КПСС. Начальник управления транспорта «Дальстрой». Арестован вместе с Э. Берзиным в 1937 году.
38. ЛИБЕФОРТ М. Я. [годы жизни неизвестны]
Адвокат [г. Свердловск]. Арестован в 1938 году УНКВД г. Свердловска.
39. ЛИНДЕМАН-БАНКОВИЧ Мильда [1885—1937 (?)]
Член КПСС с 1905 г. Участница революционного движения. Жена Банковича Я. М.
40. ЛОГИНС Давид [годы жизни неизвестны]
Писатель. Репрессирован в 1937 году.

41. МАДЕРВАКС А. В. [годы жизни неизвестны]
Незаконно репрессирован в 1937 году.
42. МАЙЗИТ Г. К. [годы жизни неизвестны]
Незаконно репрессирован в 1937 году.
43. МАЛИС Карл [?!—1937]
Журналист.
44. МАРКАУ Эрнест Фрицевич [1887—1937]
Член КПСС с 1904 г. Член ВОПС [1930 г.]. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
45. МАРТИНСОН Рудольф Андреевич [?!—1937 ?]
Член КПСС. Участник гражданской войны. Полковой комиссар [1935 г.]. Реабилитирован посмертно.
46. МАРТЫНСОН Яков Мартынович [?!—1937]
Член КПСС с 1910 г. Член ВОСБ [1933 г.]. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
47. МАУРИН Яков Иванович [1874—1942]
Член КПСС с 1903 г. Член ВОСБ [1933 г.]. Необоснованно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
48. МАУЧЕ Вольдемар Фрицевич [1901—?]
Рабочий, жил в Ярославской области. В 1944 году репрессирован, осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован.
49. МАЧ Эдмунд [1890—1936 ?]
Член КПСС с 1908 г. Участник Октябрьских событий в Москве. Делегат XIV и XV съездов ВКП(б). С 1933 года работал в КСК при СНК [г. Новосибирск].
50. МАЧТАЛИС Элга Мартыновна [1925—?]
Крестьянка-единоличница Вентспилского района Латвийской ССР. В 1946 году репрессирована, осуждена. Реабилитирована.
51. МАЧУЛИС Яков Янович [1880—1938]
Член КПСС с 1903 г. Участник революционного движения в Латвии. Работал в Москве в объединении «Гальванопресс» [1931—1937 гг.]. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
52. МЕДНИС Артур Карлович [1895—1938]
Полковник [1935 г.]. На командных постах в Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован в 1956 году.
53. МЕЖИН Юрий Юрьевич [1886—1937]
Член КПСС с 1904 г. Участник Октябрьских событий в Москве и гражданской войны. Работал в Верховном суде СССР [председатель транспортной коллегии], член Народного Комиссариата юстиции СССР. Необоснованно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован в 1956 году.
54. МЕЖОЛЬ Карл Иванович [1893—19 ноября 1937 г. «ВМН»]
Член КПСС с 1907 г. Инструктор НК РКИ СССР. С 1930 года учился в ИКП [г. Москва]. Репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
55. МЕЗИС Август Иванович [1894—21 апреля 1938 г. «ВМН»]
Член КПСС с 1912 г. Участник революционного движения в Сибири. Политработник РККА, армейский комиссар 2-го ранга, начальник Политуправления Приволжского ВО, начальник ПУ Белорусского ВО. Делегат XV-XVII съездов ВКП(б). Посмертно реабилитирован.
56. МЕЗИС Август Янович [1882—1937 ?]
Член КПСС с 1906 г. Участник революционного движения с 1905 года. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.

Продолжение следует

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СОЦИАЛИЗМ?

Уважаемая редакция!

С большим интересом прочел статью Я. Брискина «Какую выберем дорогу?» («Даугава», 1989, № 3). В связи с этим я очень хотел бы получить от автора ответы на некоторые возникшие у меня вопросы.

В начале статьи автор доказывает (и довольно убедительно) преимущество капиталистической экономики перед социалистической. Наконец-то, подумал я, нашелся человек, решивший назвать вещи своими именами. Особенно вдохновила меня фраза: «А посему представляется настоятельно необходимым смело взглянуть в глаза исторической правде и попытаться подвести итог экономического соревнования двух политических систем, дабы понять . . . » и т. д. Опять же в начале статьи автор обвиняет (и по-моему, справедливо) в непоследовательности таких публицистов, как С. Дзорасов и С. Андреев (последний обвиняется даже в наивности!). И вот, с замрзшим сердцем, я жду, что после приведенных рассуждений и численных данных автор решится (как он обещал) «смело взглянуть в глаза исторической правде» и воскликнуть: Да! Социализм проиграл экономическое соревнование капитализму.

Оказывается, ошибаются наши идеологические противники: не существует «общего кризиса социализма» за отсутствием оного (то есть социализма). Автор имеет в виду, что общественно-политическая система, именуемая в народе социализмом, таковым тем не менее не является. Тогда что же такое социализм? Ответа на этот вопрос я у автора не нашел (или автор полагает, что это всем давно известно?). Конечно, строить неизвестно что — «безусловно трудная задача!», тут я с автором согласен.

Не понял я также отличия «социалистической конвергенции» от «просто» конвергенции. Если различие между ними того же типа, что и между плюрализмом и социалистическим плюрализмом, реализмом и социалистическим реализмом, то зачем нам такая «конвергенция»?

Каким образом автор собирается «взять у капитализма . . . его восприимчивость к прогрессу, предприимчивость, возможность быстрой приспособляемости к реалиям современного мира, плюрализм буржуазных демократий, достижения в области прав человека . . . » без главного (как я считаю) принципа капитализма (который, кстати, и позволяет осуществлять все перечисленное выше) — принципа частной собственности на средства производства? И в то же время автор призывает «сохранить . . . наши идеалы, за которые было пролито столько крови!» То есть, как я понял из объяснений автора, главная ценность наших идеалов состоит в количестве пролитой за них крови! Но тогда, следуя логике автора, мы должны признать, что такой «идеал», как пресловутый «золотой телец», требует к себе гораздо большего уважения: уж за него-то кровушки пролилось! . . .

И вообще, когда в серьезной (или претендующей на серьезность) экономической статье апеллируют к разного рода идеалам, у меня возникает ощущение

ние, что автору нечего сказать. А тов. Брискину, судя по первой половине статьи, есть что сказать — и это вдвойне обидно!

Далее «в плане политическом». Мне не совсем понятен «реверанс» автора в сторону партии: «партия безусловно должна найти в себе силы оставаться ведущей силой общества . . .» Во-первых, хочет того автор или нет, партия и так является ведущей (направляющей) силой нашего общества согласно Конституции. Во-вторых, буде Конституция изменится и в ней не будет отражена руководящая роль КПСС, почему партия будет в таком случае «должна», да еще «безусловно»?

Затем автор собирается «ликвидировать бюрократию как класс». Этот тезис настораживает: мы уже имели примеры подобных «ликвидаций» в 30-е годы и узнали, чем это кончилось.

Я отметил далеко не все погрешности (с моей, разумеется, точки зрения) статьи, но думаю, что и этого хватит, чтобы упрекнуть автора в том же самом, в чем он упрекает Дзорасова, Бурлацкого, Андреева.

С уважением А. Е. Чубыкало, г. Харьков
(коммунист с 1985 года)

Два отклика на мою статью лежат на столе и вызывают тяжкие раздумья.

Автор первого письма, т. Чубыкало А. Е., пожелавший сообщить о себе только то, что он «коммунист с 1985 года», с поистине юношеским максимализмом требует от меня «воскликнуть: Да! Социализм проиграл экономическое соревнование капитализму . . .»

Не нравится моему оппоненту, когда «апеллируют к разного рода идеалам», не вызывает почтения у «коммуниста с 1985 года» и мой «реверанс в сторону партии» — что само по себе уже симптоматично. Не находит также понимания у т. Чубыкало и мой призыв «ликвидировать бюрократию как класс» — здесь ему слышатся знакомые мотивы 37 года . . .

В свое оправдание хотелось бы заметить следующее. Во-первых, статья «Какую выберем дорогу?» была написана в 1988 году, до тбилисских событий, до не оправдавшего надежд Мартовского Пленума ЦК и Съезда народных депутатов, короче говоря, еще до многих событий, которые наглядно убедили даже самых заядлых оптимистов в том, что партия, провозгласившая перестройку, ныне не только не является ведущей силой перестройки, но на местах играет роль одной из наиболее могущественных тормозящих сил. Это вынуждено признать даже руководство партии.

Во-вторых, не могу не сказать несколько слов о «разного рода идеалах». Апелляция к идеалам, на мой взгляд, еще не должна свидетельствовать о том, что «автору нечего сказать»! Видит бог, что не обращение к идеалам было преобладающим в контексте моей статьи . . . Мне представляется, что во всех революциях, во всех войнах и катаклизмах люди отдавали жизни, порой и неосознанно, за один-единственный стоящий идеал — за свободу. За свободу для себя и своего народа. И все кровопролития происходили из-за разного понимания этого бесценного понятия.

А что же такое «свобода»? По-моему, Марксова формулировка: «Свобода — это осознанная необходимость» — ныне весьма успешно используется в основном для обоснования подчинения индивидуума интересам своего класса.

Свобода — это возможность выбора! Свободный человек имеет не только право, но и возможность выбирать! Выбирать телепрограмму, религию, род занятий и среду обитания — в широчайшем смысле этого слова. Свободный человек должен иметь возможность иметь свои убеждения и свободно объединяться с единомышленниками в любые политические организации, не носящие террористического характера. Свободный народ имеет возможность выбирать господствующую идеологию, государственные и политические институты, своих союзников и внешне-политических партнеров. Свобода как возможность и право неограниченного выбора подразумевает и право народа на изменение ранее сделанного выбора, если дальнейшее следование этим путем грозит вырождением нации и национальной катастрофой.

Свобода — это высший общечеловеческий идеал, и только за нее стоит бороться!

И, наконец, третье. Я стою и буду стоять на том, что лозунги типа «больше социализма» не имеют под собой никакого реального смысла. И «китайский», и «югославский», и «венгерский» социализм имеет только одну общую черту — у власти в этих странах стоят партии марксистского толка.

Мои читатели не смогут найти ни в вышеупомянутой статье, ни в других моих работах ответа на гвоздевой вопрос нашего бытия — а что же такое социализм? Понескам ответов на этот гамлетовский вопрос можно было бы посвящать много томное исследование, оставим его «увешанным учеными бородами», по меткому выражению Ильфа и Петрова. На мой взгляд, куда как насущнее в данный момент попытаться ответить на вопрос: а что это такое мы построили за 70 лет?

Очевидно одно: пытаюсь определить наш общественный строй, необходимо задать простой вопрос — кому принадлежит собственность и кто распоряжается ею? Ибо обладает реальной властью тот, кто распоряжается ею. При капитализме функции владения и распоряжения собственностью слиты воедино и собственностью владеют преимущественно (но не единственно) физические и юридические лица. Это обеспечивает высокую эффективность капиталистического производства. В этой части т. Чубыкало прав всецело.

Следует также иметь в виду, что классического капитализма времен Маркса и Энгельса, когда предприниматель мог «бесконтрольно присваивать прибавочную стоимость», уже давно не существует. В постиндустриальных обществах предпринимательский доход в значительной и всевозрастающей степени перераспределяется государством в пользу народа. Остающуюся долю предприниматели вкладывают в расширение производства, за вычетом этих средств доход предпринимателей соизмерим с доходами высококвалифицированных менеджеров и других высокооплачиваемых групп населения.

В странах т. н. социалистической общественной системы самым крупным предпринимателем является государство. Функции владения и распоряжения собственностью разделены — формально собственность на землю и основные средства производства принадлежат народу, но практически распоряжается ею могущественный бюрократический класс, напрямую не заинтересованный в результатах своей деятельности и накрепко связанный с политической и хозяйственной мафией. И руководство КПСС, делая ставку на госсобственность, являющуюся экономическим фундаментом бюрократии, выступает выразителем политических интересов бюрократического класса.

Отсюда и выводы. Первое. Чтобы ликвидировать бюрократию как класс, необходимо всемерно сужать «ареал господства» государственной собственности, переходить к различным видам частной собственности — кооперативным, коллективным, акционерным и индивидуальным.

Второе. Поскольку бюрократия в странах Восточного блока имеет специфические «псевдосоциалистические» черты, то ее следует называть «социал-бюрократией», общественный строй — по названию господствующего класса «социал-бюрократическим», а господствующие партии и режимы — «социал-бюрократическими» партиями и режимами.

Отсюда и ответ на один из упреков моего оппонента — разве можно говорить об «общем кризисе социализма», когда социализма попросту не существует? Жизнь неумолимо свидетельствует о кризисе социал-бюрократического строя и подводит лучших и мыслящих представителей социал-бюрократических партий к необходимости решительных перемен. Разве об этом не свидетельствует и появившиеся вышеопубликованного письма?

О конвергенции. Возможно, словосочетание «социалистическая конвергенция» применено неудачно — мне самому претят словесные ухищрения типа «социалистический рынок» или «социалистическая конкуренция». Действительно, почему не ввести в обиход, скажем, следующие шедевры: «социалистическая проституция» или «социалистическая коррупция». Однако, как ее ни называй, конвергенция происходит, в странах Запада все большее распространение получают коллективные и акционерные, кооперативные формы хозяйствования, а страны Восточной Европы внедряют парламентаризм, многопартийность и свободу хозяйственной деятельности. Об этом процессе хорошо сказал Владлен Сироткин в нашумевшей статье «Уроки НЭПа»: «Следует подчеркнуть, что с 20-х годов обе системы — социализм и капитализм — как бы пошли с разных сторон к одной цели. И та и другая системы начали создавать... то, что позднее получит название «смешанной

экономики». Но Запад продолжил этот путь, а у нас он был насильственно прерван».

И перестройка задумана, по-моему, как попытка продолжить этот насильственно прерванный путь. Только путем возрождения смешанной экономики, возрождения плюрализма форм собственности мы сможем использовать преимущества капитализма, при этом пытаясь оставаться самими собой (возможно ли это — покажет уже недалекое будущее).

Варианты подобного синтеза, «третьего пути», разрабатывают многие. Однако при внимательном рассмотрении все они оказываются либо наивными, либо неосуществимыми. Весьма любопытна в этом плане теория «со-собственности» — так бы я назвал предложение профессора Московского историко-архивного института А. Х. Бурганова, изложенные во втором письме:

«Сверхзадача» перестройки состоит в решении проблемы со-собственности граждан в общественной собственности. Я бы предложил один из вариантов ее решения:

Во-первых, нужно рассчитать долю каждого гражданина в стоимости общественных средств производства и приравненных к ним ценностей. Эта доля, оформленная в ценных бумагах, и будет собственностью каждого в начале его трудовой жизни. Во-вторых, доход каждого состоит из двух частей — его трудового вклада в производство и суммы, исчисленной из его доли собственности. Увеличенная либо уменьшенная доля собственности в виде той же ценной бумаги следует за собственником до конца его жизни».

Тов. Бурганов полагает, что эта формула позволит перевести «государственное производство в народно-кооперативное», решит проблему «социальной справедливости», и, самое главное, «ликвидирует категорию наемной рабочей силы».

Поразительная наивность для профессора МИАИ! Ведь категория наемной рабочей силы возникает всегда, когда рабочая сила является товаром, то есть в любом обществе, где существуют разделение труда и неизбежно сопутствующие этому объективно необходимому процессу товарно-денежные отношения. Может быть, тов. Бурганов предполагает вернуться к натуральному хозяйству и отменить товарно-денежные отношения, то есть воспользоваться опытом знаменитых «красных кхмеров»? Или к временам «военного коммунизма»?

Путь в будущее тернист и труден, и никто не пророк в своем отечестве. Кто прав, а кто неправ — решит история...

Я. БРИСКИН

Авторы снимков в тексте: Харийс Бурмайстарс, Олег Зернов, Атис Иевиньш, Айварс Лиепиньш, Надежда Медведева, Зигурдс Межавилкс.

Сдано в набор 03.08.89.

Подписано к печати 31.08.89. ЯТ 00145.

Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,

мелованная бумага. Офсетная печать.

8,0+0,25+0,25 усл. л., 15,27 усл. кр.-отт.,

11,21 уч.-изд. л. Тираж 80 000.

Заказ № 1412. Цена 45 коп.

Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,

Баласта дамбис, 3.

Телефоны: гл. редактор 466049,

зам. гл. редактора 465913,

отв. секретарь 465996,

отд. прозы и критики 465992,

отд. поэзии 465998,

отд. публицистики 465990,

техн. секретарь 465993.

Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии,

226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

Технический редактор
Мудите АРАЯ.

Корректор
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.

С ВЫСТАВКИ «УГАР СТАЛИНСКОГО РОМАНТИЗМА»

(материал см. на с. 119)





Трудись с упорством боевым. За честный труд награда ждет:
Чтоб стал колхоз передовым! Достаток, слава и почет!



К 1950 году
число бригад и машин
станет в 6 раз больше
на 600
и количество тракторов
на 596 тысяч

**ВСЯ СТРАНА
ЗАБОТИТСЯ
О ТЕБЕ!**



**СВОЕЙ ЗАБОТОЙ СОВЕТСКИЙ НАРОД
НЕ ОСТАВИТ СОЛДАТСКИХ СИРОТ!**



**СТАЛИНСКУЮ ПЯТИЛЕТКУ
ПЕРЕВЫПОЛНИМ!**



Плакат с выставки «Угар сталинского романтизма».

Фото Олега Зернова

45 коп.

Индекс 77123